

3-е издание.

ЕВГЕНІЙ

ПОВѢСТЬ

Н. В. ГОГОЛЯ.

38 рисунков

Р. Штейнин

Издание А. Ф. Маркса.

Цена 9 коп.

СПБ

Учебный Географический Атласъ, составленный профессоромъ Э. Ю. Петри и состоящій изъ 48 главныхъ картъ, 137 дополнительныхъ картъ и чертежей на 47 таблицахъ. Новое 3-е дополненное и исправленное изданіе. Атласъ одобренъ для гимназій, реальныхъ училищъ и учительскихъ институтовъ и семинарій; для приобрѣтенія въ библіотеки второклассныхъ и учительскихъ церковно-приходскихъ школъ; рекомендованъ для среднихъ учебныхъ заведеній Вѣдомства учрежд. Императрицы Маріи и для кадетскихъ корпусовъ. Цѣна 2 р., съ пересылкой 2 р. 50 к., въ папкѣ 2 р. 35 к., съ пересылкой 2 р. 90 к., въ коленкоровомъ переплѣтѣ 2 р. 60 к., съ пересылкой 3 р. 20 к.

Лермонтовъ, М. Ю. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНІЙ. Въ 2-хъ томахъ. 1232 стр. 8-ю д. л. СПБ. 1901 г. Цѣна 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.; въ 2-хъ переплетахъ 2 р., съ перес. 2 р. 50 к. Цѣна роскоши. изданія на лучшей голландской слоновой бумагѣ, въ 4-хъ томахъ,—5 р., съ перес. 5 р. 75 к.; въ 4-хъ переплетахъ—7 р., съ перес. 7 р. 75 к.

Собранія сочиненій русскихъ классиковъ: 1) А. С. ГРИБОѢДОВА, 2) А. И. ПОЛЕЖАЕВА, 3) Императрицы ЕКАТЕРИНЫ II, 4) И. И. КОЗЛОВА, 5) А. В. КОЛЬЦОВА, 6) М. В. ЛОМОНОСОВА и 7) Д. И. ФОНВИЗИНА, — составленные по лучшимъ прежнимъ изданіямъ, тщательно проверенные по источникамъ, отчасти дополненные и изданные подъ редакціею А. И. Введенского, съ біографіями и портретами авторовъ, гравированы на стали Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ и Дейнингеромъ въ Мюнхенѣ. Цѣна за одинъ экземпл. каждого изъ означен. семи собр. сочин. 1 р., съ перес. 1 р. 30 к.; въ коленкор. перепл., тиснен. золот. и краск., 1 р. 40 к.; съ перес. 1 р. 80 к. Для любителей изящныхъ изданій сочиненія эти (за исключен. соч. Нольцова) отпеч. на лучшей веленевой бумагѣ,—по цѣнѣ за экземпл.: 2 р. 50 к., съ перес. 3 р., а въ роскоши. коленкоровомъ перепл. 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.

„Майковъ, А. Н.“ Біографический очеркъ, составленный М. Л. Златковскимъ. Съ портретомъ А. Н. Майкова, гравированнымъ на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ. СПБ. 1888 г. Цѣна 1 руб., съ пересылкой 1 р. 25 к.

„Вій“ Драматическая сказка въ 6-ти картинахъ. Изъ разсказа Н. В. Гоголя, передѣлана для сцены Е. А. Шабельской. Цѣна 50 к., съ пересылкой 60 к.

Н. ГОГОЛЬ.

ВІЙ.

ПОВСТІ.



ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ,

съ 38 рисунками Р. ШТЕЙНА.

(Собствен. А. Ф. МАРКСА).

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание А. Ф. МАРКСА.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 10 йуля 1901 года.



Тип. А. Ф. МАРНСА, Измайл. пр., № 29.

ВІЙ *).



акъ только ударялъ въ
Кіевъ поутру довольно
звонкій семинар-
скій колоколъ, висѣв-
шій у воротъ Братска-
го монастыря, то уже
со всего города спѣ-
шили толпами
школьники и
бурсаки. Грам-
матики, рито-

ры, философы и богословы, съ тетрадями подъ мышкой,
брели въ классъ. Грамматики были еще очень малы: идя,

* Вій—есть колоссальное создание простонародного воображения. Такимъ именемъ называется у малороссиянъ начальникъ гномовъ, у которого вѣки на глазахъ идутъ до самой земли. Вся эта повѣсть есть народное преданіе. Я не хотѣлъ ни въ чёмъ измѣнить его и рассказываю почти въ такой же простотѣ, какъ слышалъ.

толкали другъ друга и бралились между собою самымъ тоненькимъ дискантомъ; они были вѣрно почти въ изодраныхъ или запачканныхъ платьяхъ, и карманы ихъ вѣчно были наполнены всякою дрянью, какъ-то: бабками, свистѣлками, сдѣланными изъ перышекъ, недодѣленнымъ пирогомъ, а иногда даже и маленькими воробышками, изъ которыхъ одинъ, вдругъ чиликнувъ среди необыкновенной тишины въ классѣ, доставлялъ своему патрону порядочная пали въ обѣ руки, а иногда и вишневая розги. Риторы шли солиднѣе; платья у нихъ были часто совершенно цѣлы, но за то на лицѣ всегда почти бывало какое-нибудь украшеніе, въ видѣ риторического трона: или одинъ глазъ уходилъ подъ самый лобъ, или, вместо губы, цѣлый пузырь, или какая-нибудь другая примѣта; эти говорили и божились между собою теноромъ. Философы цѣлою октавою брали ниже; въ карманахъ ихъ, кроме крѣпкихъ табачныхъ корешковъ, ничего не было. Запасовъ они не дѣлали никакихъ, и все, что попадалось, съѣдали тогда же; отъ нихъ слышалась трубка и горѣлка, иногда такъ далеко, что проходившій мимо ремесленникъ долго еще, остановившись, нюхалъ, какъ гончая собака, воздухъ.

Рынокъ въ это время обыкновенно только-что начинать шевелиться, и торговки, съ бубликами, булками, арбузными сѣмечками и маковниками, дергали на подхватъ за полы тѣхъ, у которыхъ полы были изъ тонкаго сукна или какой-нибудь бумажной матеріи.

„Паничи, паничи! сюды, сюды!“ говорили онѣ со всѣхъ сторонъ: „ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! ей-Богу, хороши! на меду! сама пекла!“

Другая, поднявъ что-то длинное, скрученное изъ тѣста, кричала: „Ось сусулька! Паничи, купите сусульку!“

„Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная,—и носъ нехорошій, и руки нечистыи“...

Но философовъ и богослововъ онъ боялись за „ѣвать“, потому что философы и богослы всегда любили брать только на пробу и притомъ цѣлою горстью.

По приходѣ въ семинарію, вся толпа размѣщалась по классамъ, находившимся въ низенькихъ, довольно, однакоже, просторныхъ комнатахъ съ небольшими окнами, съ широкими дверьми и запачканными скамьями. Классъ наполнялся вдругъ разноголосными жужжаніями: аудиторы выслушивали своихъ учениковъ; звонкій дикантъ грамматика попадалъ какъ разъ въ звонъ стекла, вставленного въ маленькия окна, и стекло отвѣчало почти тѣмъ же звукомъ; въ углу гудѣлъ риторъ, котораго ротъ и толстые губы должны бы принадлежать по крайней мѣрѣ философіи. Онъ гудѣлъ басомъ, и только слышно было издали: „бу, бу, бу, бу“... Аудиторы, слушая урокъ, смотрѣли однимъ глазомъ подъ скамью, гдѣ изъ кармана подчиненного бурсака выглядывала булка, или вареникъ, или сѣмена изъ тыквъ.

Когда вся эта учепая толпа успѣвала приходить нѣсколько ранѣе, или когда знали, что профессора будуть позже обыкновеннаго, тогда, со всеобщаго согласія, замышляли бой, и въ этомъ бою должны были участвовать всѣ, даже и цензора, обязанные смотрѣть за порядкомъ и правственностью всего учащагося словія. Два богослова обыкновенно рѣшали, какъ происходитъ битвѣ: каждый-ли классъ долженъ стоять за себя особенно, или всѣ должны раздѣлиться на двѣ половины: на бурсу и семинарію. Во всякомъ случаѣ, грамматики начинали прежде всѣхъ, и какъ только вмѣшивались риторы, они уже бѣжали прочь и становились на возвышеніяхъ наблюдать битву. Потомъ вступала философія съ черными длинными усами, а нако-

пецъ и богословія въ ужасныхъ шароварахъ и съ претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тѣмъ, что богословія побивала всѣхъ, и философія, почесывая бока, была тѣснима въ классъ и помѣщалась отдыхать на скамьяхъ. Профессоръ, входившій въ классъ и участвовавшій когда-то самъ въ подобныхъ бояхъ, въ одну минуту, по разгорѣвшимся лицамъ своихъ слушателей, узнавалъ, что бой былъ недуренъ, и въ то время, когда онъ сѣкъ розгами по пальцамъ риторику, въ другомъ классѣ другой профессоръ отѣлывалъ деревянными лопatkами по рукамъ философію. Съ богословами же было поступаемо совершенно другимъ образомъ: имъ, по выражению профессора богословіи, отсыпалось по мѣркѣ *крупнаго гороху*, что состояло въ коротенькихъ кожаныхъ канчукахъ.

Въ торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домамъ съ вертепами. Иногда разыгрывали комедію, и въ такомъ случаѣ всегда отличался какой-нибудь богословъ, ростомъ мало чѣмъ пониже кіевской колокольни, представлявшій Иродіаду или Пентефрію, супругу египетскаго царедворца. Въ награду получали они кусокъ полотна, или мѣшокъ проса, или половину варенаго гуся и тому подобное. Весь этотъ ученый народъ, — какъ семинарія, такъ и бурса, которые питали какую-то наследственную непріязнь между собою, — былъ чрезвычайно бѣденъ на средства къ прокормленію, и притомъ необыкновенно прожорливъ, такъ что сосчитать, сколько каждый изъ нихъ уписывалъ за вечерою галушекъ, было бы совершенно невозможное дѣло, и потому доброхотныя жертвованія зажиточныхъ владѣльцевъ не могли быть достаточны. Тогда сенатъ, состоявшій изъ философовъ и богослововъ, отправлялъ грамматиковъ и риторовъ, подъ предводительствомъ одного философа, — а иногда присоединялся и самъ, — съ мѣшками на плечахъ, опу-

стошать чужie огороды— и въ буре появлялась каша изъ тыквъ. Сенаторы столько объѣдались арбузовъ и дынь, что на другой день авдиторы слышали отъ нихъ, вмѣсто одного, два урока: одинъ происходилъ изъ усть, другой ворчалъ въ сенаторскомъ желудкѣ. Бурса и семинарія носили какія-то длинныя подобія сюртуковъ, простиравшихся *по сiс времiя*: слово техническое, означавшее— далѣе пятокъ.

Самое торжественное для семинаріи событіе было— вакансіи: время съ юня мѣсяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домамъ. Тогда всю большую дорогу усѣивали грамматики, философы и богословы. Кто не имѣлъ своего пріюта, тотъ отправлялся къ кому-нибудь изъ товарищѣй. Философы и богословы отправлялись *на кондицiи*, то-есть бралисъ учить или приготовлять дѣтей людей зажиточныхъ, и получали за то въ годъ новые сапоги, а иногда и на сюртукъ. Вся ватага эта тянулась вмѣстѣ цѣлымъ таборомъ, варила себѣ кашу и ночевала въ полѣ. Каждый тащилъ за собою мѣшокъ, въ которомъ находилась одна рубашка и пара онучъ. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того, чтобы не износить сапоговъ, они скидали ихъ, вѣшали на палки и несли на плечахъ, особенно, когда была грязь: тогда они, засучивъ шаровары по колѣни, безстрашно разбрзгивали своими ногами лужи. Какъ только завидывали въ сторонѣ хуторъ, тотчасъ сворачивали съ большой дороги и, приблизившись къ хатѣ, выстроенной поопрятнѣе другихъ, становились передъ окнами въ рядъ и во весь ротъ начинали пить кантъ. Хозяинъ хаты, какой-нибудь старый козакъ-поселянинъ, долго ихъ слушалъ, подпервшись обѣими руками, потомъ рыдалъ прегорько и говорилъ, обращаясь къ своей женѣ: „Жинко! то, что поютъ школяры, должно-быть очень разумное; вынеси имъ сала и чего-нибудь такого, чтò у насъ есть“. И цѣлая миска варениковъ валялась

въ мѣшокъ; порядочный кусь сала, иль сколько наляницъ, а иногда и связанная курица помѣщались вмѣстѣ. Подкрепившись такимъ запасомъ, грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чѣмъ далѣе, однако же, шли они, тѣмъ болѣе уменьшалась толпа ихъ. Всѣ почти разбродились по ломамъ и оставались тѣ, которые имѣли родительскія гнѣзда далѣе другихъ.

Одинъ разъ, во время подобного странствованія, бурсака своротили съ большой дороги въ сторону, тѣмъ, чтобы въ первомъ попавшемся хуторѣ застаситься провіантомъ, потому что мѣшокъ у нихъ давно уже былъ пустъ. Это были: богословъ Халіва, философъ Хома Брутъ и риторъ Тиберій Горобецъ.

Богословъ былъ рослый, плечистый мужчина и имѣлъ чрезвычайно странный нравъ: все, что ни лежало, бывало, возлѣ него, опять непремѣнно украдеть. Въ другомъ случаѣ характеръ его былъ чрезвычайно мраченъ, и когда напивался онъ пьянъ, то прятался въ бурьянѣ, и семинаріи стоило большого труда сыскать его тамъ.

Философъ Хома Брутъ былъ нрава веселаго, любилъ очень лежать и курить люльку; если же пиль, то непремѣнно нанималъ музыкантовъ и отплясывалъ тропака. Онъ часто пробовалъ *крупнаго гороху*, по совершенно съ философическимъ равнодушіемъ, говоря, что, чему быть, того не миновать.

Риторъ Тиберій Горобецъ еще не имѣлъ права носить усовъ, пить горѣлки и курить люльки. Онъ носилъ только оселедецъ, и потому характеръ его въ то время еще мало развился; но, судя по большимъ шишкамъ на лбу, съ которыми онъ часто являлся въ классъ, можно было предположить, что изъ него будетъ хороший воинъ. Богословъ Халіва и философъ Хома часто дирали его за чубъ, въ знакъ своего покровительства, и употребляли въ качествѣ депутата.



Богословъ Халява, философъ Хома Брутъ и риторъ Тиберій
Горобець. (Стр. 8).

Былъ уже вечеръ, когда они своротили съ большой дороги; солнце только-что сѣло, и дневная теплота оставалась еще въ воздухѣ. Богословъ и философъ шли молча, куря люльки; риторъ Тиберій Горобецъ сбивалъ палкою головки съ будяковъ, росшихъ по краямъ дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубовъ и орѣшника, покрывавшими лугъ. Отлогости и небольшія горы, зеленые и круглыя, какъ куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся въ двухъ мѣстахъ нива съ вызрѣвшимъ житомъ давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже болѣе часа, какъ они минули хлѣбные полосы, а между тѣмъ имъ не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсѣмъ омрачили небо, и только на западѣ блѣднѣлъ остатокъ алого сіянія.

„Что за чортъ!“ сказалъ философъ Хома Брутъ: „сдавалось совершенно, какъ будто сейчасъ будетъ хуторъ“.

Богословъ помолчалъ, поглядѣлъ по окрестностямъ, потомъ опять взялъ въ ротъ свою люльку, и всѣ продолжали путь.

„Ей-Богу!“ сказалъ опять, остановившись, философъ: „ни чортова кулака не видно“.

„А, можетъ-быть, далѣе и попадется какой-нибудь хуторъ“, сказалъ богословъ, не выпуская люльки.

Но между тѣмъ уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшія тучи усилили мрачность и, судя по всѣмъ примѣтамъ, нельзя было ожидать ни звѣздъ, ни мѣсяца. Бурсаки замѣтили, что они сбились съ пути и давно шли не по дорогѣ.

Философъ, пошаривши ногами во всѣ стороны, сказалъ наконецъ отрывисто: „А гдѣ же дорога?“

Богословъ помолчалъ и, надумавшись, промолвилъ: „Да, ночь темная“.

Риторъ отошелъ въ сторону и старался ползкомъ нащупать дорогу, но руки его попадали только въ лисы

поры. Вездѣ была одна степь, по которой, казалось, никто не ъездилъ.

Путешественники еще сдѣлали усилие пройти нѣсколько впередъ, но вездѣ была та же дичь. Философъ попробовалъ перекликнуться, но голосъ его совершенно



Хома Брутъ.

заглохъ по сторонамъ и не встрѣтилъ никакого отвѣта. Нѣсколько спустя только послышалось слабое стенаніе, похожее на волчій вой.

„Виши! что тутъ дѣлать?“ сказалъ философъ.

„А что? оставаться и заночевать въ полѣ!“ сказалъ

богословъ и полѣзъ въ карманъ достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философъ не могъ согласиться на это: онъ всегда имѣлъ обыкновеніе упрятать на ночь полнудовую краюху хлѣба и фунта четыре сала, и чувствовалъ на этотъ разъ въ желудкѣ свое мѣсто какое-то неспособное одиночество. Притомъ, несмотря на веселый нравъ свой, философъ боялся нѣсколько волковъ.

„Нѣть, Халява, не можно“, сказалъ онъ. „Какъ же, не подкрѣпивъ себя пичѣмъ, растянуться и лечь такъ, какъ собака? Попробуемъ еще: можетъ-быть, набредемъ на какое-нибудь жилье, и хоть чарку горѣлки удастся выпить на ночь“.

При словѣ „горѣлка“, богословъ силуя путь въ сторону и примолвилъ: „Оно, конечно, въ путь оставаться нечего“.

Бурсаки пошли впередъ и, къ величайшей радости ихъ, въ отдаленіи почудился лай. Прислушавшись, съ которой стороны, они отправились бодрѣ и, немного пройдя, увидѣли огонекъ.

„Хуторъ! Ей-Богу, хуторъ!“ сказалъ философъ.

Предположенія его не обманули: черезъ нѣсколько времени они увидѣли, точно, небольшой хуторокъ, состоявший изъ двухъ только хатъ, находившихся въ одномъ и томъ же дворѣ. Въ окнахъ свѣтился огонь; десятокъ сливныхъ деревъ торчалъ подъ тыномъ. Взглянувши въ сквозныя дощатыя ворота, бурсаки увидѣли дворъ, установленный чумацкими возами. Звезды кое-гдѣ глянули въ это время на небѣ.

„Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни было, а добыть почлега!“

Три ученые мужа дружно ударили въ ворота и закричали:

„Отвори!“

Дверь въ одной хатѣ закричѣла, и, минуту спустя,



Бурсаки увидѣли передъ собою старуху въ нагольномъ тулуپѣ (Стр. 14).

бурсаки увидѣли передъ собою старуху въ нагольномъ тулупѣ.

„Кто тамъ?“ закричала она, глухо кашляя.

„Пусти, бабуся, переночевать: сбились съ дороги; такъ въ полѣ скверно, какъ въ голодномъ брюхѣ.“

„А что вы за народъ?“

„Да народъ необидчивый: богословъ Халява, философъ Брутъ и риторъ Горобець“.

„Не можно“, проворчала старуха: „у меня народу полонъ дворъ и все углы въ хатѣ заняты. Куда я васъ дѣну? Да еще все какой рослый и здоровый народъ! Да у меня и хата развалится, когда помѣщу такихъ. Я знаю этихъ философовъ и богослововъ: если такихъ пьяницъ начнешь принимать, то и двора скоро не будетъ. Попшли, пошли! Тутъ вамъ нѣть мѣста“.

„Умилосердись, бабуся! Какъ же можно, чтобы христіанскія души прошли ни за что, ни про что? Гдѣ хочешь, помѣсти нась; и если мы что-нибудь, какъ-нибудь того, или какое другое что сдѣляемъ,—то пусть намъ и руки отсохнутъ, и такое будетъ, что Богъ одинъ знаетъ—вотъ что!“

Старуха, казалось, немного смягчилась. „Хорошо“, сказала она, какъ бы размышляя: „я впущу васъ, только положу всѣхъ въ разныхъ мѣстахъ: а то у меня не будетъ спокойно на сердцѣ, когда будете лежать вмѣстѣ“.

„На то твоя воля; не будемъ прекословить“, отвѣтили бурсаки.

Ворота заскрипѣли, и они вошли на дворъ.

„А что, бабуся“, сказалъ философъ, идя за старухой: „если бы такъ, какъ говорятъ... Ей-Богу, въ животѣ какъ будто кто колесами сталъѣздить: съ самаго утра вотъ хоть бы щепка была во рту“.

„Вишь, чего захотѣлъ!“ сказала старуха: „нѣть, у меня нѣть ничего такого, и печь не тошилась сегодня“.

„А мы бы уже за все это“, продолжалъ философъ „расплатились бы завтра, какъ слѣдуетъ—чистаганомъ Да!“ продолжалъ онъ тихо: „чорта съ два получиши ты что-нибудь!“

„Ступайте, ступайте! и будьте довольны тѣмъ, что даютъ вамъ. Вотъ чортъ принесъ какихъ нѣжныхъ паничей!“

Философъ Хома пришелъ въ совершенніе уныніе отъ такихъ словъ; но вдругъ нось его почувствовалъ запахъ сущеной рыбы; онъ глянулъ на шаровары богослова, шедшаго съ нимъ рядомъ, и увидѣлъ, что изъ кармана его торчалъ преогромный рыбий хвостъ: богословъ уже успѣлъ подтибрить съ воза цѣлаго карася. И такъ какъ онъ это производилъ не изъ какой-нибудь корысти, но единственно по привычкѣ, и, позабывши совершенно о своемъ карасѣ, уже разглядывалъ, что бы такое стянуть другое, не имѣя намѣренія пропустить даже изломанаго ко-



Богословъ уже успѣлъ подтибрить съ воза цѣлаго карася. (Стр. 15).

леса,— то философъ Хома запустилъ руку въ его карманъ, какъ въ свой собственный, и вытащилъ карася.

Старуха размѣстила бурсаковъ: ритора положила въ хатѣ, богослова заперла въ пустую комору, философу отвѣлѣ тоже пустой овечій хлѣбъ.

Философъ, оставшись одинъ, въ одну минуту сѣлъ карася, осмотрѣлъ плетеные стѣны хлѣва, толкнулъ ногою въ морду просунувшуюся изъ другого хлѣва любопытную свинью и поворотился на правый бокъ, чтобы заснуть мертвѣцки. Вдругъ низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла въ хлѣбъ.

„А что, бабуся, чего тебѣ нужно?“ сказалъ философъ.

Но старуха шла прямо къ нему съ распростертыми руками.

„Эге, ге!“ подумалъ философъ. „Только пѣть, голубушка, устарѣла!“

Онъ отодвинулся немного подальше, но старуха, безъ церемоніи, опять подошла къ нему.

„Слушай, бабуся!“ сказалъ философъ: „теперь посты; а я такой человѣкъ, что и за тысячу золотыхъ не захочу оскоромиться“.

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сдѣлалось страшно, особенно, когда онъ замѣтилъ, что глаза ея сверкнули какимъ-то необыкновеннымъ блескомъ. „Бабуся! что ты? Ступай, ступай себѣ съ Богомъ!“ закричалъ онъ.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.

Онъ вскочилъ на ноги, съ намѣренiemъ бѣжать; но старуха стала въ дверяхъ, вперила на него сверкающіе глаза и снова начала подходить къ нему.

Философъ хотѣлъ оттолкнуть ее руками, но, къ удивленію, замѣтилъ, что руки его не могутъ приподняться, ноги не двигались; и онъ съ ужасомъ увидѣлъ, что

даже голосъ не звучалъ изъ усть его: слова безъ звука шевелились на губахъ. Онъ слышалъ только, какъ билось его сердце; онъ видѣлъ, какъ старуха подошла къ нему, сложила ему руки, погнула ему голову, вско-



Старуха шла съ распростертыми руками. (Стр. 16).

чила съ быстротою кошки къ нему на спину, ударила его метлою по боку, и онъ, подпрыгивая, какъ верховой конь, понесъ ее на плечахъ своихъ. Все это случилось такъ быстро, что философъ сдва могъ опо-

мниться и схватилъ обѣими руками себя за колѣни, желаю держать ноги; но онъ, къ величайшему изумлению его, подымались противъ воли и производили скачки быстрѣе черкесскаго бѣгуна. Когда уже минули они хуторъ и передъ ними открылась ровная лощина, а въ сторонѣ потянулся черный, какъ уголь, лѣсъ, тогда только сказалъ онъ самъ въ себѣ: „Эге, да это вѣдьма!“

Обращенный мѣсячный серпъ свѣтлѣлъ на небѣ. Робкое полночное сіяніе, какъ сквозное покрывало, ложилось легко и дынилось по землѣ. Лѣса, луга, небо, долины—все, казалось, какъ будто спало съ открытыми глазами; вѣтеръ хоть бы разъ вспорхнулъ гдѣ-нибудь; въ ночной свѣжести было что-то влажно-теплое; тѣни отъ деревъ и кустовъ, какъ кометы, острыми клинами надали на отлогую равнину: такая была ночь, когда философъ Хома Брутъ скакалъ съ непонятнымъ всадникомъ на спинѣ. Онъ чувствовалъ какое-то томительное, непріятное и вмѣстѣ сладкое чувство, подступавшее къ его сердцу. Онъ опустилъ голову внизъ и видѣлъ, что трава, бывшая почти подъ ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверхъ ея находилась прозрачная, какъ горный ключъ, вода, и трава казалась дномъ какого-то свѣтлаго, прозрачнаго до самой глубины моря; по крайней мѣрѣ онъ видѣлъ ясно, какъ онъ отражался въ немъ вмѣстѣ съ сидѣвшимъ на спинѣ старухою. Онъ видѣлъ, какъ, вмѣсто мѣсяца, свѣтило тамъ какое-то солнце; онъ слышалъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенѣли; онъ видѣлъ, какъ изъ-за осоки выплыvalа русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная изъ блеска и трепета. Она оборотилась къ нему — и вотъ ея лицо, съ глазами, свѣтлыми, сверкающими, острыми, съ пѣньемъ вторгавшимися въ душу, уже приближалось къ нему, уже было на поверхности и, задрожавъ сверкающимъ смѣхомъ, удалялось; и вотъ она опрокинулась на

спину—и облачныя перси ся, матовыя, какъ фарфоръ, непокрытый глазурью, просвѣчивали предъ солицемъ по краямъ своей бѣлой, эластически-пѣжной окружности. Вода, въ видѣ маленькихъ пузырьковъ, какъ



Онъ, подпрыгивая, какъ верховой конь, понесъ ее на плечахъ своихъ
(Стр. 17).

бисеръ, обсыпала ихъ. Она вся дрожитъ и смѣется въ водѣ...

Видѣть-ли опь это, или не видѣть? Наяву-ли это, или снится? Но тамъ чѣ? вѣтеръ или музыка? звенить.

звенить и вьется, и подступает, и вонзается въ душу какою-то нестерпимою трелью...

„Чтò это?“ думаль философъ Хома Брутъ, глядя внизъ, несясь во всю прыть. Поть катился съ него градомъ. Онъ чувствовалъ бѣсовски-сладкое чувство, онъ чувствовалъ какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслажденіе. Ему часто казалось, какъ будто сердца уже вовсе не было у него, и онъ со страхомъ хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, онъ началъ припомнить всѣ, какія только зналъ, молитвы. Онъ перебиралъ всѣ заклятія противъ духовъ, и вдругъ почувствовалъ какое-то освѣженіе; чувствовалъ, что шагъ его начиналъ становиться лѣнивѣ, вѣдьма какъ-то слабѣе держалась на спинѣ его, густая трава касалась его, и уже онъ не видѣлъ въ ней ничего необыкновеннаго. Свѣтлый серпъ свѣтилъ на небѣ.

„Хорошо же!“ подумаль про себя философъ Хома и началъ почти вслухъ произносить заклятія. Наконецъ, съ быстротою молнii, выпрыгнулъ изъ-подъ старухи и вскочилъ въ свою очередь къ ней на спину. Старуха мелкимъ дробнымъ шагомъ побѣжала такъ быстро, что всадникъ едва могъ переводить духъ свой. Земля чуть мелькала подъ нимъ; все было ясно при мѣсячномъ, хотя и неполномъ свѣтѣ; долины были гладки; но все отъ быстроты мелькало неясно и сбивчиво въ его глазахъ. Онъ схватилъ лежавшее па дорогѣ полѣно и началъ имъ со всѣхъ силь колотить старуху. Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потомъ становились слабѣе, пріятнѣе, чище, и потомъ уже тихо, едва звенѣли, какъ тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему въ душу; и невольно мелькнула въ головѣ мысль: точно- ли это старуха? „Охъ, не могу больше!“ произнесла она въ изнеможеніи и упала на землю.

Онъ сталь на ноги и посмотрѣлъ ей въ очи (раз-

свѣтъ загорался, и блестѣли золотыя главы вдали кіевскихъ церквей): передъ нимъ лежала красавица съ расстрапанною роскошною косою, съ длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами. Безчувственно отбросила она на обѣ



Онъ схватилъ лежавшее на дорогѣ польно и началъ имъ со всѣхъ силь колотить... (Стр. 20).

стороны бѣлый нагія руки и стопала, возведя кверху очи, полныя слезъ.

Затрепетать, какъ древесный листъ, Хома; жалость и какое-то странное волненіе, и робость, невѣдомыя

ему самому, овладѣли имъ. Онъ пустился бѣжать во весь духъ. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никакъ не могъ онъ истолковать себѣ, что за странное, новое чувство имъ овладѣло. Онъ уже не хотѣлъ болѣе



Передъ нимъ лежала красавица. (Стр. 21).

итти на хутора и спѣшилъ въ Киевъ, раздумывая всю дорогу о такомъ непонятномъ происшествіи.

Бурсаковъ почти никого не было въ городѣ: всѣ разбрелись по хуторамъ, или на кондиціи, или, просто,



Всѣ разбрелись... (Стр. 22).

безъ всякихъ кондицій, потому что по хуторамъ малороссійскимъ можно ѿстать галушки, сыръ, сметану и вареники величиною въ шляпу, не заплативъ гроша денегъ. Большая, разъѣхавшаяся хата, въ которой помѣщалась бурса, была рѣшительно пуста, и сколько философъ ни шарилъ во всѣхъ углахъ и даже ощупаль всѣ дыры и защадни въ крышѣ, но нигдѣ не отыскалъ ни куска сала или, по крайней мѣрѣ, старого книша, чтò, по обыкновенію, запрятывало было бурсаками.

Однакоже философъ скоро сыскался, какъ поправить свое горе: онъ прошелъ, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулся на самомъ концѣ съ какою-то молодою вдовою въ желтомъ очискѣ, продававшею ленты, ружейную дробь и колеса,—и былъ въ тотъ же день накормленъ пшеничными варениками, курицею... и словомъ—перечесть нельзя, что у него было за столомъ, накрытымъ въ маленькомъ глиняномъ домикѣ, среди вишневаго садика. Въ тотъ же самый вечеръ видѣли философа въ корчмѣ: онъ лежалъ на лавкѣ, покуривая, по обыкновенію своему, льюльку, и при всѣхъ бросиль жиду-корчмарю ползолотой. Передъ нимъ стояла кружка. Онъ глядѣлъ на приходившихъ и уходившихъ хладнокровно-довольными глазами и вовсе уже не думалъ о своемъ необыкновенномъ происшествии.

Между тѣмъ распространились вездѣ слухи, что дочь одного изъ богатѣйшихъ сотниковъ, котораго хуторъ находился въ пятидесяти верстахъ отъ Кіева, возвратилась въ одинъ день съ прогулки вся избитая, едва имѣвшая силы добресть до отцовскаго дома, находится при смерти и передъ смертнымъ часомъ изъявила желаніе, чтобы отходную по ней и молитвы, въ продолженіе трехъ дней послѣ смерти, читалъ одинъ изъ

киевскихъ семинаристовъ: Хома Брутъ. Объ этомъ философъ узналъ отъ самого ректора, который нарочно призывалъ его въ свою комнату и объявилъ, чтобы онъ безъ всякаго отлагательства спѣшилъ въ дорогу, что именитый сотникъ прислалъ за нимъ нарочно людей и возокъ.

Философъ вздрогнулъ по какому - то безотчетному чувству, котораго онъ самъ не могъ расстолковать себѣ. Темное предчувствіе говорило ему, что ждеть его что-то недобroe. Самъ не зная почему, объявилъ онъ напрямикъ, что не поѣдетъ.

„Послушай, domine Хома!“ сказалъ ректоръ (онъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ объяснялся очень вѣжливо со своими подчиненными): „тебя никакой чортъ и не спрашиваетъ о томъ, хочешь-ли тыѣхать, или не хочешь. Я тебѣ скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать, то прикажу тебе по спинѣ и по прочему такъ отстегать молодымъ березнякомъ, что и въ баню не нужно будетъ ходить“.

Философъ, почесывая слегка за ухомъ, вышелъ, не говоря ни слова, располагая при первомъ удобномъ случаѣ возложить надежду на свои ноги. Въ раздумья сходилъ онъ съ крутой лѣстницы, приводившей на дворъ, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голосъ ректора, дававшаго приказанія своему ключнику и еще кому-то,—вѣроятно, одному изъ посланныхъ за нимъ отъ сотника.

„Благодари пана за крупу и яйца“, говорилъ ректоръ: „и скажи, что какъ только будуть готовы тѣ книги, о которыхъ онъ пишетъ, то я тотчасъ пришлю: я отдалъ ихъ уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторѣ у нихъ, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случаѣ прислалъ бы: здѣсь на базарахъ и нехороша, и дорога. А ты, Явтухъ, дай молодцамъ по чар-

къ горѣлки; да философа приязать, а не то — какъ разъ удереть".

"Виши, чортовъ сынъ!" подумалъ про себя философъ: "пронюхалъ, длинноногій вьюпъ!"

Онь сошелъ внизъ и увидѣлъ кибитку, которую принялъ было спачала за хлѣбный овинъ на колесахъ. Въ самомъ дѣлѣ, она была такъ же глубока, какъ печь, въ которой обжигаютъ кирпичи. Это былъ обыкновенный краковскій экипажъ, въ какомъ жи́ды полсотнею отправляются вмѣстѣ съ товара-

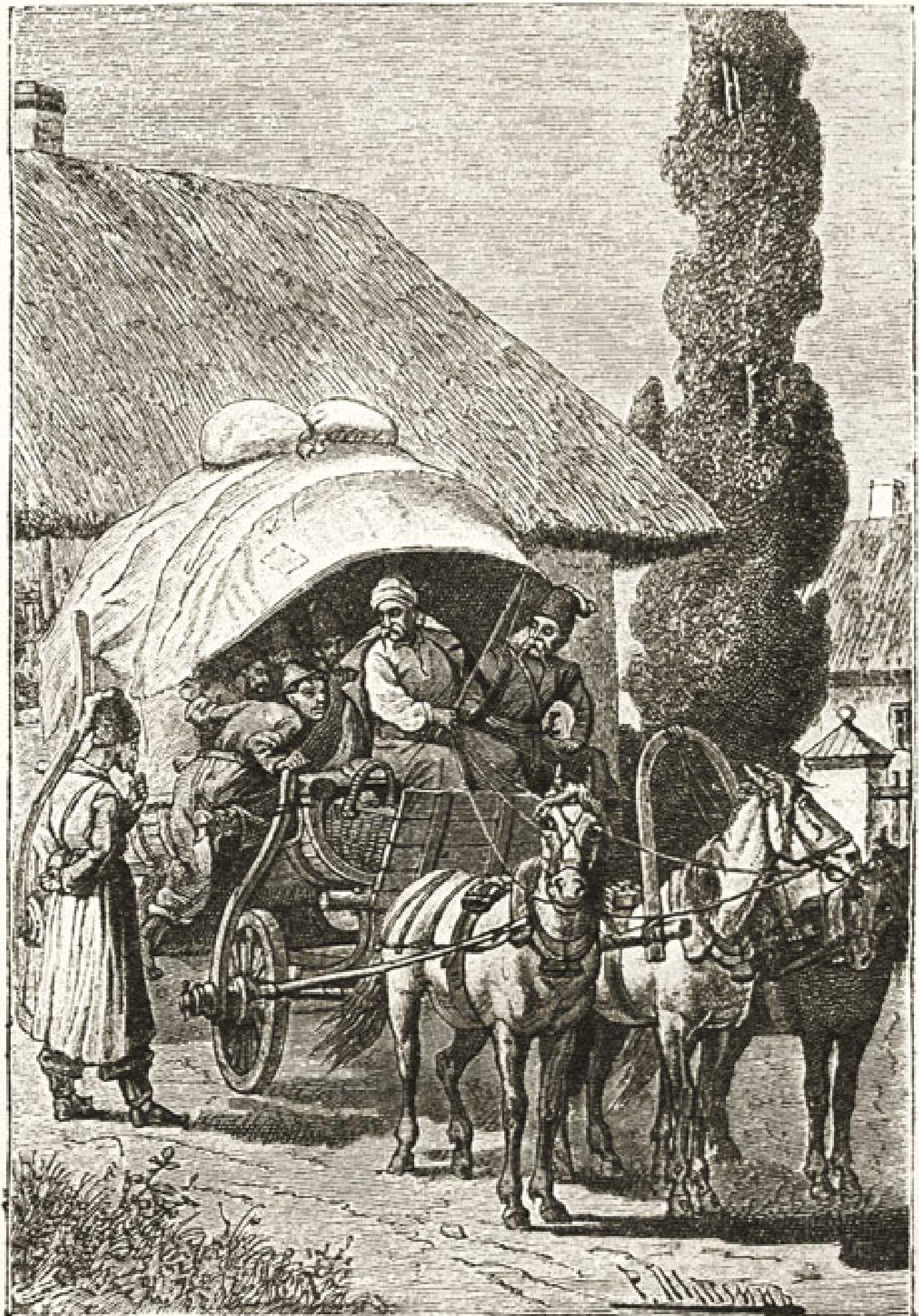
ми во всѣ города, гдѣ только слышитъ ихъ ность ярмарку. Его ожидало человѣкъ шесть здоровыхъ и крѣпкихъ козаковъ, уже нѣсколько пожилыхъ. Свитки изъ тонкаго сукна, съ кистями, показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владѣльцу; небольшіе рубцы го-



"Послушай, domine Хома!" (Стр. 25).

говорили, что они бывали когда-то на войнѣ не безъ славы.

"Чтѣ-жъ дѣлать? Чему быть, тому не миковатъ!" подумалъ про себя философъ и, обратившись къ козакамъ, произнесъ громко: "Здравствуйте, братья товарищи!"



Это былъ обыкновенный краковскій экипажъ. (Стр. 26).

„Будь здоровъ, папъ философъ!“ отвѣчали пѣкоторые изъ козаковъ.

„Такъ вотъ это миѣ приходится сидѣть вмѣстѣ съ вами? А брика знатная!“ продолжалъ онъ, влѣзая. „Тутъ бы только нанять музыкантовъ, то и танцевать можно“.

„Да, соразмѣрный экипажъ!“ сказалъ одинъ изъ козаковъ, садясь на облучокъ самъ-другъ съ кучеромъ, завязавшимъ голову тряпицею, вмѣсто шапки, которую онъ успѣлъ оставить въ шинкѣ. Другіе пять вмѣстѣ съ философомъ полѣзли въ углубленіе и расположились на мѣшкахъ, наполненныхъ разпою закупкою, сдѣланною въ городѣ.

„Любопытно бы знать“, сказалъ философъ: „если бы, примѣромъ, эту брику нагрузить какимъ-нибудь товаромъ, положимъ—солью или желѣзными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней?“

„Да“, сказалъ, помолчавъ, сидѣвшій на облучкѣ козакъ: „достаточное бы число потребовалось коней“.

Послѣ такого удовлетворительного отвѣта, козакъ почиталъ себя въ правѣ молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотѣлось узнать обстоятельствѣ, кто таковъ былъ этотъ сотникъ, каковъ его нравъ, что слышно о его дочкѣ, которая такимъ необыкновеннымъ образомъ возвратилась домой и находилась при смерти, и которой исторія связалась теперь съ его собственною, какъ у нихъ и что дѣлается въ домѣ. Онъ обращался къ нимъ съ вопросами; но козаки, вѣрно, были тоже философы, потому что, въ отвѣтъ на это, молчали и курили люльки, лежа на мѣшкахъ.

Одинъ только изъ нихъ обратился къ сидѣвшему на козлахъ возницѣ съ коротеньkimъ приказаниемъ: „Смотри, Оверко, ты, старый разиня, какъ будешь подѣлжать къ шинку, что на чухрайловской дорогѣ, то не позабудь остановиться и разбудить меня и другихъ молодцовъ, если кому случится заснуть“.

Послѣ этого онъ заснулъ довольно громко. Впрочемъ, эти наставленія были совершенно напрасны, потому что, едва только приблизилась исполинская брика къ шинку на чухрайловской дорогѣ, какъ всѣ въ одинъ голосъ закричали: „Стой!“³ При томъ лошади Оверка были такъ уже пріучены, что останавливались сами передъ каждымъ шинкомъ.

Несмотря на жаркій польскій день, всѣ вышли изъ брики, отправились въ низенькую, запачканную комнату, гдѣ жидъ-корчмаръ, съ знаками радости, бросился принимать своихъ старыхъ знакомыхъ. Жидъ принесъ подъ полою нѣсколько колбасъ изъ свинины и, положивши на столъ, тотчасъ отворотился отъ этого запрещеннаго талмудомъ плода. Всѣ усѣлись вокругъ стола, глиняныя кружки показались предъ каждымъ изъ гостей. Философъ Хома долженъ былъ участвовать въ общей пирушки. И такъ какъ малороссіяне, когда подгуляютъ, не премѣнио начнуть цѣловаться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаніями. „А ну, Спиридъ, почеломкаемся!“— „Иди сюда, Дорошъ, я обниму тебя!“

Одинъ козакъ, бывшій постарѣе всѣхъ другихъ, съ сѣдыми усами, подставивши руку подъ щеку, началъ рыдать отъ души о томъ, что у него нѣть ни отца, ни матери и что онъ остался однимъ одинъ на свѣтѣ. Другой былъ большой резонеръ и безпрестанно утѣшалъ его, говоря: „Не плачь; ей-Богу, не плачь! что-жъ тутъ?.. Ужъ Богъ знаетъ, какъ и что такое“. Одинъ, по имени Дорошъ, сдѣлался чрезвычайно любопытенъ и, оборотившись къ философу Хомѣ, безпрестанно спрашивалъ его: „Я хотѣлъ бы знать, чѣму у васъ въ бурѣ учать: тому-ли самому, что и дѣлѣ читаетъ въ церкви, или чѣму другому?“

„Не спрашивай!“ говорилъ протяжно резонеръ: „пусть его тамъ будетъ, какъ было. Богъ уже знаетъ, какъ нужно; Богъ все знаетъ“.



Р. Шишкин

Всъ вышли изъ брики. (Стр. 29).

„Нѣтъ, я хочу знать“⁴, говорилъ Дорошъ: „что тамъ написано въ тѣхъ книжкахъ; можетъ-быть, совсѣмъ другое, чѣмъ у дьяка“.

„О, Боже мой, Боже мой!“ говорилъ этотъ почтенный частавникъ: „и на что такое говорить? Такъ уже воля Божія положила. Уже что Богъ далъ, того не можно перемѣнить“.

„Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду въ



„А ну, Спиридъ, почеломкаемся!“ (Стр. 30).

бурсу, ей-Богу, пойду. Что ты думаешь, я не выучусь?— Всему выучусь, всему!“

„О, Боже-жъ мой, Боже мой!..“ говорилъ утѣшитель и спустилъ свою голову на столъ, потому что совершенно былъ не въ силахъ держать ее долѣ на плечахъ. Прочие козаки толковали о панахъ и о томъ, отчего на небѣ свѣтить мѣсяцъ.

Философъ Хома, увидя такое расположение головъ, рѣшился воспользоваться и улизнуть. Опѣ спачала обра-

тился къ сѣдовласому козаку, грустившему объ отцѣ и матери: „Что-жъ ты, дядько, расплакался?“ сказаль онъ: „я самъ сирота! Отпустите меня, ребята, па волю! На чѣмъ я вамъ?“

„Пустимъ его на волю!“ отзвались нѣкоторые: „вѣдь онъ сирота; пусть себѣ идѣть, куда хочетъ“.

„О, Боже-жъ мой! Боже мой!“ произнесъ утѣши-тель, поднявъ свою голову: „отпустите его! Пусть идѣть себѣ!“

И козаки уже хотѣли сами вывестъ его въ чистое поле; но тотъ, который показалъ свое любопытство, остановилъ ихъ, сказавши: „Не трогайте: я хочу съ нимъ поговорить о бурсѣ; я самъ пойду въ бурсу...“

Впрочемъ, врядъ-ли бы этотъ побѣгъ могъ совер-шиться, потому что когда философъ вздумалъ подняться изъ-за стола, то ноги его сдѣлались какъ будто деревяными, и дверей въ комнатѣ начало представляться ему такое множество, что врядъ-ли бы онъ отыскалъ настоящую.

Только ввечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далѣе въ дорогу. Взмостившись въ брику, они потянулись, погоняя лошадей и нашѣвая пѣсню, которой слова и смыслъ врядъ-ли бы кто разо-бралъ. Проколесивши болѣшую половину ночи, безпре-станно сбиваясь съ дороги, выученной наизусть, они наконецъ спустились съ крутой горы въ долину, и фи-лософъ замѣтилъ по сторонамъ тянущійся частоколь или плетень, съ низенькими деревьями и выказывав-шимися изъ-за нихъ крышами. Это было большое се-леніе, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькия звѣздочки мелькали кое-гдѣ. Ни въ одной хатѣ не видно было огня. Они взѣхали, въ сопровожденіи собачьяго лая, на дворъ. Съ обѣихъ сторонъ были замѣты крытые соломою сараи и домики; одинъ изъ нихъ, паходив-

шійся какъ разъ посредиъ противъ воротъ, быль болѣе другихъ и служилъ, какъ казалось, преображеніемъ сотника. Брика остановилась передъ небольшимъ подобіемъ сарая, и путешественники наши отправились спать. Философъ хотѣлъ, однако же, иѣсколько осмотрѣть снаружи панскіе хоромы; но, какъ онъ ни пылилъ свои глаза, ничто не могло означиться въ испомъ видѣ: вмѣсто дома представлялся ему медвѣдь; изъ трубы дѣлался ректоръ. Философъ махнулъ рукою и пошелъ спать.

Когда проснулся философъ, то весь домъ быль въ движениі: въ ночь умерла панночка. Слуги бѣгали винтихахъ взадъ и впередъ; старухи иѣкоторыя плакали; толпа любопытныхъ глядѣла сквозь заборъ на панскій дворъ, какъ будто бы могла что-нибудь увидѣть. Философъ началъ на досугѣ осматривать тѣ мѣста, которыя онъ не могъ разглядѣть ночью. Панскій домъ быль низенькое небольшое строеніе, какія обыкновенно строились въ старину въ Малороссіи; онъ быль покрытъ соломою; маленький, острый и высокій фронтонъ съ оконкомъ, похожимъ на поднятый кверху глазъ, быль весь измалеванъ голубыми и желтыми цвѣтами и красными полумѣсяцами; онъ быль утвержденъ на дубовыхъ столбикахъ, до половины круглыхъ, и снизу шестигранныхъ, съ вычурною обточкою вверху. Подъ этимъ фронтомъ находилось небольшое крылечко со скамейками по обѣимъ сторонамъ. Съ боковъ дома были наѣсы на такихъ же столбикахъ, инѣ витыхъ. Высокая груша съ пирамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеленѣла передъ домомъ. Иѣсколько амбаровъ въ два ряда стояли среди двора, образуя родъ широкой улицы, ведшей къ дому. За амбарами, къ самымъ воротамъ, стояли треугольниками два погреба, одинъ напротивъ другого, крытыя также соломою. Треугольная стѣна каждого изъ нихъ была снабжена низенькою

дверью и размалевана разными изображениями. На одной изъ нихъ нарисованъ быль сидящій на бочкѣ казакъ, державшій надъ головою кружку съ надписью: „Все выпью!“ На другой фляжка, сулеи и по сторонамъ, для красоты, лошадь, стоявшая вверхъ ногами, трубка, бубны и надпись: „Вино — козацкая потѣха“. Съ чердака одного изъ сараевъ выглядывалъ, сквозь огромное слуховое окно, барабанъ и мѣдныя трубы. У



Взмостившись въ брику, они потянулись, погоняя лошадей... (Стр. 32).

воротъ стояли двѣ пушки. Все показывало, что хозяинъ дома любилъ повеселиться и дворъ часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились двѣ вѣтряные мельницы. Позади дома шли сады, и сквозь верхушки деревъ видны были однѣ только темные шляпки трубъ, скрывавшихся въ зеленой гущѣ хатъ. Все селеніе помѣщалось на широкомъ и ровномъ уступѣ горы. Съ сѣверной стороны все заслоняла кру-



Большое селеніе, принадлежавшее сотнику. (Стр. 32).

тая гора и подошвою своею оканчивалась у самаго двора. При взглѣдѣ на нее снизу, она казалась еще круче, и на высокой верхушкѣ ея торчали кое-гдѣ неправильные стебли тощаго бурьяна и черпѣли на свѣтломъ небѣ; обнаженный глинистый видъ ея навѣвалъ какое-то уныніе; она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутомъ косогорѣ ея въ двухъ мѣстахъ торчали двѣ хаты; надъ одною изъ нихъ раскидывала вѣтви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями съ насыпною землей. Яблочки, сбиваемыя вѣтромъ, скатывались въ самый панскій дворъ. Съ вершины вилась по всей горѣ дорога и, опустившись, шла мимо двора въ селенье. Когда философъ измѣрилъ страшную круть ея и вспомнилъ вчерашнее путешествіе, то рѣшилъ, что или у пана были слишкомъ умныя лошади, или у козаковъ слишкомъ крѣпкія головы, когда и въ хмельномъ чаду умѣли не полетѣть вверхъ ногами вмѣстѣ съ неизмѣримою брикой и багажомъ. Философъ стоялъ на высшемъ въ дворѣ мѣстѣ, и, когда оборотился и глянулъ въ противоположную сторону, ему представился совершенно другой видъ. Селеніе вмѣстѣ съ отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень ихъ темнѣла по мѣрѣ отдаленія, и цѣлые ряды селеній синѣли вдали, хотя разстояніе ихъ было болѣе, нежели на двадцать верстъ. Съ правой стороны этихъ луговъ тянулись горы, и чуть замѣтною вдали полосою горѣль и темнѣль Днѣпръ.

„Эхъ, славное мѣсто!“ сказалъ философъ: „вотъ тутъ бы жить, ловить рыбу въ Днѣпрѣ и въ прудахъ, охотиться съ тенетами или съ ружьемъ за стрепетами и крольшинами! Впрочемъ, я думаю, и дрофъ не мало въ этихъ лугахъ. Фруктовъ же можно насушить и продать въ городѣ множество или, еще лучше, выкурить изъ нихъ водку, потому что водка изъ фруктовъ ни съ

какимъ пѣнникомъ не сравнится. Да не мѣшасть по-
думать и о томъ, какъ бы улизнуть отсюда".

Онъ примѣтилъ за плетнемъ маленьку дорожку, совершиенно закрытую разросшимся бурьяномъ; поставилъ машинально на нее ногу, думая напердъ только прогуляться, а потомъ тихомолкомъ, промежъ хатами, да и махнуть въ поле, какъ внезапно почувствовалъ на своеемъ плечѣ довольно крѣпкую руку.

Позади его стоялъ тотъ самый старый козакъ, который вчера такъ горько соболѣзновалъ о смерти отца и матери и о своемъ одиночествѣ.

"Напрасно ты думаешь, панъ философъ, улепетнуть изъ хутора!" говорилъ онъ: "тутъ не такое заведеніе, чтобы можно было убѣжать: да и дороги для пѣшехода плохи; а ступай лучше къ пану: онъ ожидаетъ тебя давно въ свѣтлицѣ".



"Напрасно ты думаешь, панъ философъ,
уlepетнуть изъ хутора!" (Стр. 37).

— "Напрасно ты думаешь, панъ философъ,
уlepетнуть изъ хутора!" (Стр. 37).

„Пойдемъ! Что-жъ... я съ удовольствіемъ“, сказалъ философъ, и отправился вслѣдъ за козакомъ.

Сотникъ, уже престарѣлый, съ сѣдыми усами и съ выраженіемъ мрачной грусти, сидѣлъ передъ столомъ въ свѣтлицѣ, подперши обѣими руками голову. Ему было около пятидесяти лѣтъ; по глубокое уныніе на

лицѣ и какой-то блѣдно-тощій цвѣтъ показывали, что душа его была убита и разрушена вдругъ, въ одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли навѣки. Когда взошелъ Хома вмѣстѣ съ старымъ козакомъ, онъ отнялъ одну руку и слегка кивнулъ головою на низкій ихъ поклонъ.

Хома и козакъ почтильно остановились у дверей.

„Кто ты, и откуда, и какого званія, добрый человѣкъ?“ сказалъ сотникъ ни ласково, ни сурово.

„Изъ бурсаковъ, философъ Хома Брутъ...“

„А кто былъ твой отецъ?“

„Не знаю, вельможный панъ.“

„А мать твоя?“

„И матери не знаю. По здравому разсужденію, конечно, была мать; но кто она и откуда, и когда жила,— ей Богу, добродію, не знаю“.

Старикъ помолчалъ и, казалось, минуту оставался въ задумчивости.

„Какъ же ты познакомился съ мою дочкою?“

„Не знакомился, вельможный панъ, си-Богу, не зна-



Сотникъ. (Стр. 38).



Хома и козакъ почтительно остановились у дверей. (Стр. 38).

комился! Еще никакого дѣла съ паночками не имѣль, сколько ни живу на свѣтѣ. Цуръ имъ, чтобы не сказать непристойнаго!“

„Отчего же она не другому кому, а тебѣ именно назначила читать?“

Философъ пожаль плечами: „Богъ его знаетъ, какъ это растолковать. Извѣстное уже дѣло, что панамъ подчасъ захочется такого, что и самый наиграмотнѣйшій человѣкъ не разбереть; и пословица говорить: „Скачи, враже, якъ панъ каже“.

„Да не врешь ли ты, панъ философъ?“

„Вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ пусть громъ такъ и хлопнетъ, если лгу“.

„Если бы только минуточкой долѣе прожила ты“, грустно сказалъ сотникъ: „то, вѣрно бы, я узпалъ все. „Никому не давай читать по миѣ, но пошли, тату, сей же часъ въ кіевскую семинарію и привези бурсака Хому Брута; пусть три ночи молится по грѣшной душѣ моей. Онь знаетъ...“ А что такое знаетъ, я уже не услышалъ: она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человѣкъ, вѣрно, извѣстенъ святою жизнью своею и богоугодными дѣлами, и она, можетъ-быть, наслышалась о тебѣ“.

„Кто? Я?“ сказалъ бурсакъ, отступивши отъ изумленія. „Я святой жизни?“ произнесъ онъ, посмотрѣвъ прямо въ глаза сотнику. „Богъ съ вами, панъ! Чѣмъ вы это говорите! Да я,—хоть оно непристойно сказать,—ходилъ къ булочницѣ противъ самого страстного четверга“.

„Ну... вѣрно, уже не даромъ такъ назначено. Ты долженъ съ сего же дня начать свое дѣло“.

„И бы сказалъ на это вашей милости... Оно, конечно, всякий человѣкъ, вразумленный святыму писанію, можетъ по соразмѣрности... только сюда приличнѣе было требовалось дьякона или, по крайней мѣрѣ, дьяка. Они

народъ толковый и знаютъ, какъ все это уже дѣлается; а я... Да у меня и голосъ не такой, и самъ я—чортъ знать что. Никакого виду съ меня пѣть“.

„Ужъ какъ ты себѣ хочешь, только я все, что за-
вѣщала мнѣ моя голубка, исполню, ничего не пожалѣя.
И когда ты съ сего дня три ночи совершишь, какъ
следуетъ, надъ икою молитвы, то я награжу тебя; а не
то—и самому чорту не совѣтую разсердить меня“.

Послѣднія слова произнесены были сотникомъ такъ
крѣпко, что философъ понялъ вполнѣ ихъ значеніе.

„Ступай за мною!“ сказалъ сотникъ.

Они вышли въ сѣни. Сотникъ отворилъ дверь въ
другую свѣтлицу, бывшую насупротивъ первой. Фило-
софъ остановился на минуту въ сѣняхъ высморкаться
и съ какимъ-то безотчетнымъ страхомъ переступилъ
черезъ порогъ.

Весь полъ былъ устланъ красною китайкой. Въ углу,
подъ образами, на высокомъ столѣ, лежало тѣло умер-
шей, на одѣялѣ изъ синяго бархата, убранномъ золо-
тою бахромою и кистями. Высокія восковыя свѣчи,
увитыя калипою, стояли въ ногахъ и въ головахъ,
изливая свой мутный, терявшийся въ дневномъ сіяніи,
свѣтъ. Лицо умершей было заслонено отъ него неутѣши-
тымъ отцомъ, который сидѣлъ передъ икою, обратясь
спиною къ дверямъ. Философа поразили слова, который
онъ услышалъ:

„Я не о томъ жалѣю, моя наимилѣйшая мнѣ дочь,
что ты во цвѣтъ лѣтъ своихъ, не доживъ положенного
вѣка, на печаль и горесть мнѣ, оставила землю; я о
томъ жалѣю, моя голубонька, что не знаю того, кто
былъ, лютый врагъ мой, причиной твоей смерти. И
если бы я зналъ, кто могъ подумать только оскорбить
тебя, или хоть бы сказалъ что-нибудь непріятное о
тебѣ, то, клянусь Богомъ, не увидѣлъ бы онъ больше
своихъ дѣтей, если онъ такъ же старъ, какъ и я, ни

своего отца и матери, если только онъ еще на порѣ лѣтъ, и тѣло его было бы выброшено на същеніе птицамъ и звѣрямъ степнымъ! Но горе мнѣ, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я осталной вѣкъ свой безъ потѣхи, утирая полю дробныя слезы, текущія изъ старыхъ очей моихъ, тогда какъ врагъ мой будетъ веселиться и втайне посмѣваться надъ хилымъ старцемъ...“

Онъ остановился, и причиной этого была разрывающа горесть, разрѣшившаяся цѣлымъ потопомъ слезъ.

Философъ былъ тронутъ такою безутѣшною печалью; онъ закашлялся и издалъ глухое крехтаніе, желая очистить имъ свой голосъ.

Сотникъ оборотился и указалъ ему мѣсто въ головахъ умершей, передъ небольшимъ налoемъ, на которомъ лежали книги.

„Три ночи какъ-нибудь отработаю“, подумалъ философъ: „за то панъ набьетъ мнѣ оба кармана чистыми червонцами“.

Онъ приблизился и, еще разъ откашлившись, принялъ читать, не обращая никакого вниманія на сторону и не рѣшаясь взглянуть въ лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Онъ замѣтилъ, что сотникъ вышелъ. Медленно повертилъ онъ голову, чтобы взглянуть на умершую, и...

Трепетъ пробѣжалъ по его жиламъ: передъ нимъ лежала красавица, какая когда-либо бывала на землѣ. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы въ такой рѣзкой и вмѣстѣ гармонической красотѣ. Она лежала, какъ живая; чело прекрасное, нѣжное, какъ сиѣгъ, какъ серебро, казалось, мыслило; брови — почь среди солнечнаго дня, тонкія, ровныя, горделиво приподнялись надъ закрытыми глазами; а рѣсицы, упавшія стрѣлами на щеки, пылавшія жаромъ тайныхъ желаній; уста — руины, готовые усмѣхнуться смѣхомъ



Лицо умершей было заслонено отъ него неутѣшнымъ отцомъ. (Стр. 41.)

блаженства, потономъ радости... Но въ нихъ же, въ тѣхъ же самыхъ чертахъ, онъ видѣлъ что-то страшно-пронзительное. Онъ чувствовалъ, что душа его начинала какъ-то болѣзнико ныть, какъ будто бы вдругъ среди вихря веселья и закружиившейся толпы запѣль кто-нибудь пѣсню похоронную. Рубины усть ея, казалось, прикипали кровью къ самому сердцу. Вдругъ что-то страшно-знакомое показалось въ лицѣ ея. „Вѣдьма!“ вскрикнулъ онъ не своимъ голосомъ, отвелъ глаза въ сторону, поблѣдиѣль весь и сталъ читать свои молитвы. Это была та самая вѣдьма, которую убилъ онъ!

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли въ церковь. Философъ однимъ плечомъ своимъ поддерживалъ черный траурный гробъ и чувствовалъ на плечѣ своеимъ что-то холодное, какъ ледъ. Сотникъ самъ шелъ впереди, неся рукою правую сторону тѣснаго дома умершей. Церковь, деревянная, почернѣвшая, убранная зеленымъ мохомъ, съ тремя конусообразными куполами, упиралася почти на краю села. Замѣтно было, что въ ней давно уже не отправлялось никакого служенія. Свѣчи были зажжены почти передъ каждымъ образомъ. Тробѣ поставили посерединѣ, противъ самого алтаря. Старый сотникъ попрѣловалъ еще разъ умершую, повергнулся ницъ и вышелъ вмѣстѣ съ носильщиками вонъ, давъ повелѣніе хорошенъко накормить философа и послѣ ужина проводить его въ церковь. Пришедши въ кухню, всѣ, несшіе гробъ, начали прикладывать руки къ печкѣ, чтò обыкновенно дѣлаютъ малороссіянине, увидѣвшіи мертвца.

Голодъ, который въ это время началъ чувствовать философъ, заставилъ его на нѣсколько минутъ позабыть все объ умершей. Скоро вся дворня мало-по-малу начала сходиться въ кухню. Кухня въ сотниковомъ домѣ была что-то похожее на клубъ, куда стекалось все, что ни обитало во дворѣ, считая въ это число и собакъ, при-

ходившихъ съ машущими хвостами къ самыи дверямъ за костями и помоями. Куда бы кто ни былъ посылаемъ и по какой бы то ни было надобности, онъ



„Вѣдьма!“ (Стр. 44).

всегда прежде заходилъ на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавкѣ и выкурить люльку. Всѣ холостяки, жившіе въ домѣ, щеголявшіе въ козацкихъ свит-



Когда солнце стало садиться, мертвую понесли въ церковь. (Стр. 44).

кахъ, лежали здѣсь почти цѣлый день на лавкѣ, подъ лавкою, на печкѣ—однимъ словомъ, гдѣ только можно было сыскать удобное мѣсто для лежанья. Притомъ



Церковь стояла почти на краю села... (Стр. 44).

всякій вѣчно позабывалъ въ кухнѣ или шапку, или кнутъ для чужихъ собакъ, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собраніе бывало во время

ужина, когда приходилъ и табущикъ, успѣвшій затнать своихъ лошадей въ загопъ, и погонщикъ, приводившій коровъ для дойки, и всѣ тѣ, которыхъ въ теченіе дня нельзѧ было увидѣть. За ужиномъ болтовня овладѣвала самыми неговорливыми языками. Тутъ обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошиль себѣ новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка. Тутъ было множество боммотистовъ, въ которыхъ между малороссиянами нѣть недостатка.

Философъ усѣлся вмѣстѣ съ другими въ обширный кружокъ, на вольномъ воздухѣ, передъ порогомъ кухни. Скоро баба въ красномъ очикѣ высунулась изъ дверей, держа въ обѣихъ рукахъ горячій горшокъ съ галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынулъ изъ кармана своего деревянную ложку; иные, за неимѣніемъ, деревянную спичку. Какъ только уста стали двигаться немногого медленнѣе, и волчій голодъ всего этого собранія немногого утишился, многіе начали заговаривать. Разговоръ, натурально, долженъ былъ обратиться къ умершей.

„Правда-ли“, сказаль одинъ молодой овчаръ, который насадилъ на свою кожаную перевязь для лульки столько пуговицъ и мѣдныхъ бляхъ, что былъ похожъ на лавку мелкой торговки: „правда-ли, что паничка, не тѣмъ будь помянута, зналась съ нечистымъ?“

„Кто? Паничка?“ сказаль Дорошъ, уже знакомый прежде нашему философу: „да она была цѣлая вѣдьма! Я присягну, что вѣдьма!“

„Полно, полно, Дорошъ“, сказаль другой, который во время дороги изъявлялъ большую готовность утѣшать: „это не наше дѣло; Богъ съ нимъ! Нечего объ этомъ толковать“. — Но Дорошъ вовсе не былъ расположень молчать; онъ только-что предъ тѣмъ сходилъ въ погребъ вмѣстѣ съ ключникомъ по какому-то нуж-



Дворня мало-малу начала сходиться въ кухню... (Стр. 44).

ному дѣлу и, наклонившись раза два къ двумъ или тремъ бочкамъ, вышелъ оттуда чрезвычайно веселый и говорилъ безъ умолку.

„Что ты хочешь? Чтобы я молчалъ?“ сказаль онъ: „да она на мяѣ самомъ ъздила! Ей-Богу, ъздила!“

„А что, дядько?“ сказаль молодой овчарь съ пуговицами: „можно-ли узнать по какимъ-нибудь примѣтамъ вѣдьму?“

„Нельзя“, отвѣчаль Дорошъ: „никакъ не узнаешь; хоть всѣ псалтыри перечитай, то не узнаешь“.



Философъ усѣлся вмѣстѣ съ другими... (Стр. 48).

„Можно, можно, Дорошъ: не говори этого“, произнесъ прежній утѣшитель: „уже Богъ пе даромъ даль всякому особый обычай: люди, знающіе науку, говорить, что у вѣдьмы есть маленький хвостикъ“.

„Когда стара баба, то и вѣдьма“, сказаль хладнокровно сѣдой козакъ.

„О, ужъ хороши и вы!“ подхватила баба, которая

подливала въ то время съжихъ галушки въ очищившійся горшокъ: „настояще толстые кабаны!“

Старый козакъ, котораго имя было Ивтухъ, а прозваніе Ковтунъ, выразилъ на губахъ своихъ улыбку удовольствія, замѣтивъ, что слова его задѣли за живое старуху; а погонщикъ скотины пустилъ такой густой смѣхъ, какъ будто бы два быка, ставши одинъ противъ другого, замычали разомъ.

Начавшійся разговоръ возбудилъ непреодолимое желаніе и любопытство философа узнать обстоятельства про умершую сотникову дочь, и потому, желая опять навести его на прежнюю матерю, обратился къ сосѣду своему съ такими словами: „Я хотѣлъ спросить, почему все это сословіе, чтò сидить за ужиномъ, считаетъ паниочку вѣдьмою? Чтò-жъ, разыѣ она кому-нибудь причинила зло, или извела кого-нибудь?“

„Было всякаго“, отвѣчалъ одинъ изъ сидѣвшихъ, съ лицомъ гладкимъ, чрезвычайно похожимъ на лопату.

„А кто не припомнить псаря Микиту, или того?...“

„А чтò-жъ такое псарь Микита?“ сказалъ философъ.

„Стой! я расскажу про псаря Микиту“, сказалъ Дорошъ.

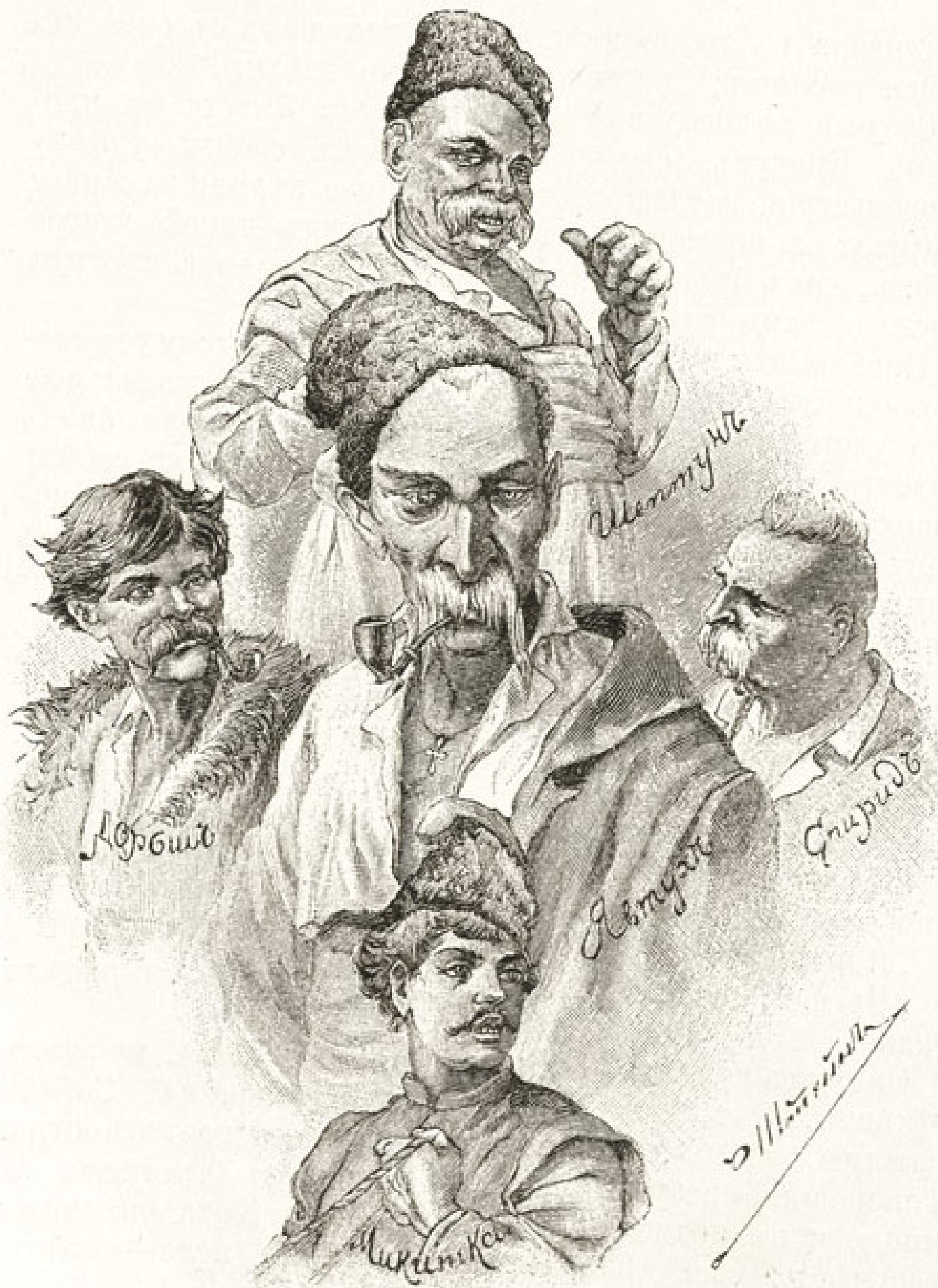
„Я расскажу про Микиту“, отвѣчалъ табунищикъ: „потому что онъ былъ мой кумъ.“

„Я расскажу про Микиту“, сказалъ Спиридъ.

„Чускай, пускай Спиридъ расскажетъ!“ закричала толпа.

Спиридъ началъ: „Гы, пань философъ Хома, не знать Микиты. Эхъ, какой рѣдкій былъ человѣкъ! Собаку каждую онъ, бывало, такъ знаетъ, какъ родного отца. Теперешній псарь Микола, чтò сидить третымъ за мною, и въ подметки ему не годится. Хотя онъ тоже разумѣть свое дѣло, но онъ противъ него — дрянь, помой.“

„Ты хорошо рассказываешь, хорошо!“ сказалъ Дорошъ, одобрительно кивнувъ головою.



Спиридъ продолжалъ: „Зайца увидить скорѣе, чѣмъ табакъ утрешь изъ носу. Бывало, свистиѣ: „а ну, Разбой! а ну, Быстрая!“ а самъ на конѣ во всю прыть,— и уже разсказать нельзя, кто кого скорѣе обгонитъ: онъ-ли собаку, или собака его. Сивухи карту свистиѣ вдругъ, какъ не бывало. Славный былъ псарай! Только съ недавняго времени началь онъ заглядываться безпрестанно на паничку. Вкленался-ли онъ точно въ нее, или уже она такъ его околдовала, только прошалъ человѣкъ, обабился совсѣмъ; сдѣлался, чортъ знаетъ что, пфу! непристойно сказать“.

„Хорошо“, сказалъ Дорошъ.

„Какъ только паничка, бывало, взглянѣть на него, то и повода изъ рукъ пускаеть, Разбоя зоветъ Бровкомъ, спотыкается и ни вѣсть что дѣластъ. Одинъ разъ паничка пришла на конюшню, гдѣ онъ чистилъ коня.— „Дай“, говорить, „Микитка, я положу на тебя свою ножку“. А онъ, дурень, и радъ тому: говорить, что „не только ножку, но и сама садись на меня“. Паничка подняла свою ножку, и какъ увидѣль онъ ея нагую, полную и бѣлую ножку, то, говорить, чара такъ и ошеломила его. Онъ, дурень, нагнуль спину и, схвативши обѣими руками за пагія ея ножки, пошелъ скакать, какъ конь, по всему полю, и куда ониѣѣздили, онъ ничего не могъ сказать; только воротился едва живой, и съ той поры изсохнулъ весь, какъ щенка; и когда разъ пришли на конюшню, то вмѣсто его лежала только куча золы да пустое ведро: сгорѣль совсѣмъ, сгорѣль самъ собою. А такой былъ псарай, какого на всемъ свѣтѣ не можно найти“.

Когда Спиридъ окончилъ разсказать свой, со всѣхъ сторонъ пошли толки о достоинствахъ бывшаго псаря.

„А про Шепчиху ты не слышалъ?“ сказалъ Дорошъ, обращаясь къ Хомѣ.

„Нѣтъ“.

„Эге, ге, ге! Такъ у васть въ бурѣ, видно, не слишкомъ большому разуму учать. Ну, слушай. У насъ есть па селѣ козакъ Шентунъ, — хороший козакъ! Онъ любить иногда украсть и сорвать безъ всякой нужды, но... хороший козакъ. Его хата не такъ далеко отсюда. Въ такую самую пору, какъ мы теперь сѣли вечерять, Шентунъ съ жинкою, окончивши вечерю, легли спать, и такъ какъ время было хорошее, то Шепчиха легла на дворѣ, а Шентунъ въ хатѣ, на лавкѣ; или ифть: Шепчиха въ хатѣ на лавкѣ, а Шентунъ на дворѣ...“

„И не на лавкѣ, а на полу легла Шепчиха“, подхватила баба, стоя у порога и поднерши рукою щеку.

Дорошь поглядѣль на нее, потомъ поглядѣль внизъ, потомъ опять на нее и, немнogo замолчавъ, сказалъ: „Когда скину съ тебя при всѣхъ исподницу, то не хорошо будетъ“.

Это предостереженіе имѣло свое дѣйствіе. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила рѣчи.

Дорошь продолжалъ: „А въ люлькѣ, висѣвшей среди хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужескаго или женскаго пола. Шепчиха лежала, а потомъ слышитъ, что за дверью скребется собака и воетъ такъ, хоть изъ хаты бѣги. Она испугалась, ибо бабы — такой глупый народъ, что высунь ей подъ-вечерь изъ-за дверей языкъ, то и душа уйдетъ въ пятки. Однакожъ думаетъ: „Дай-ка я ударю по мордѣ проклятую собаку, авось-либо перестанетъ выть“, — и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успѣла она немного отворить, какъ собака кинулась промежъ ногъ ей и прямо къ дѣтской люлькѣ. Шепчиха видѣть, что это уже не собака, а паничка; да притомъ пускай бы уже паничка въ такомъ видѣ, какъ она ее знала, — это бы еще ничего; но вотъ вѣщъ и обстоятельство, что она была вся синяя, а глаза горѣли, какъ уголь. Она схватила дитя, прокурила ему горло и начала пить изъ него кровь. Шеп-

чиха только закричала: „Охъ, лисечко!“ да изъ хаты. Только видить, что въ сѣнихъ двери заперты; она на чердакъ; сидить и дрожать глупая баба; а потомъ видить, что паничка къ ней идетъ и на чердакъ, кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептуль поутру вытащилъ оттуда свою жинку, всю искусанную и посинѣвшую; а на другой день и умерла глупая баба. Такъ вотъ какія устроиства и обольщенія бываютъ! Опо хоть и панскаго помету, да все, когда вѣдьма, то вѣдьма“.

Послѣ такого разсказа Дорошь самодовольно оглянулся и засунулъ палецъ въ свою трубку, приготовляя ее къ набивкѣ табакомъ. Матерія о вѣдьмѣ сдѣлалась неисчерпаемою. Каждый въ свою очередь спѣшилъ что-нибудь разсказать. Къ тому вѣдьма, въ видѣ скирды сѣна, прѣхала къ самымъ дверимъ хаты; у другого украла шапку или трубку; у многихъ лѣвокъ на сель отрѣзала косу; у другихъ вышила по пѣскольку ведерь крови.

Она схватила дитя, прокусила ему горло... (Стр. 54).

Наконецъ, вся команія опомнилась и увидѣла, что

заболталась уже черезчуръ, потому что уже на дворѣ была совершенная ночь. Всѣ начали разбродиться по ночлегамъ, находившимся или на кухнѣ, или въ сараишъ, или среди двора.

„А ну, пашь Хома! теперь и намъ пора ити къ покойницѣ“, сказаль сѣдой козакъ, обратившись къ философу, и всѣ четверо, въ томъ числѣ Спиридѣ и Дор-



рошь, отправились въ церковь, стегая кнутами собакъ, которыхъ на улицѣ было великое множество и которые со злости грызли ихъ палки.

Философъ, несмотря на то, что успѣлъ подкрѣпить себя доброю кружкою горѣлки, чувствовалъ втайне подступавшую робость, по мѣрѣ того, какъ они приближались къ освѣщенной церкви. Разсказы и странныя исторіи, слышанныя имъ, помогали еще болѣе дѣйствовать его воображенію. Мракъ подъ тыномъ и деревьями начиналъ рѣдѣть; мѣсто становилось обнаженное. Они встутили наконецъ за ветхую церковную ограду въ небольшой дворикъ, за которымъ не было ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночнымъ мракомъ луга. Три козака взошли вмѣстѣ съ Хомою по крутой лѣстницѣ на крыльцо и встутили въ церковь. Здѣсь они оставили философа, пожелавъ ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за нимъ дверь, по приказанію пана.

Философъ остался одинъ. Сначала онъ зѣвнуль, по томъ потянулся, потомъ фукнулъ въ обѣ руки и наконецъ уже осмотрѣлся. Посрединѣ стоялъ черный гробъ; сбѣчи теплились передъ темными образами; свѣтъ отъ нихъ освѣщалъ только иконостасъ и слегка середину церкви; отдаленные углы притвора были закутаны мракомъ. Высокій старинный иконостасъ уже показывалъ глубокую ветхость; сквозная рѣзьба его, покрытая золотомъ, еще блестѣла однѣми только искрами: позолота въ одномъ мѣстѣ опала, въ другомъ вовсе покернѣла; лики святыхъ, совершенно потемнѣвшіе, глядѣли какъ-то мрачно. Философъ еще разъ осмотрѣлся. „Что-жъ?“ сказалъ онъ: „чего тутъ бояться? Человѣкъ притти сюда не можетъ, а отъ мертвцевъ и выходцевъ съ того свѣта есть у меня молитвы, такія, что какъ прочитаю, то они меня и пальцемъ не тронутъ. Ничего!“ повторилъ онъ, махнувъ рукою: „будемъ читать“. Подходя

Къ клиросу, увидѣлъ онъ иѣсколько связокъ свѣчей. „Это хорошо“, подумалъ философъ: „нужно освѣтить всю церковь такъ, чтобы видно было, какъ днемъ. Эхъ, жаль, что во храмѣ Божиѣмъ не можно лольки выкупить!“

И онъ принялъся прилѣплять восковыя свѣчи ко



Онъ принялъся прилѣплять восковыя свѣчи ко всѣмъ карнизамъ...
(Стр. 57).

всѣмъ карнизамъ, наложимъ и образамъ, не жалѣя ихъ пимало, и скоро вся церковь наполнилась свѣтомъ. Вверху только мракъ сдѣлался какъ будто сильнѣе, и мрачные образа глядѣли угрюмѣй изъ старинныхъ рѣзныхъ рамъ, кое-гдѣ сверкавшихъ позолотой. Онъ по-

дошелъ ко гробу, съ робостію посмотрѣлъ въ лицо умершей—и не могъ не закинуть, ибсколько вздрогнуши, своихъ глазъ: такая страшная, сверкающая красота!

Онъ отворотился и хотѣлъ отойти; но, по странному любопытству, по странному понеречивающему себѣ чувству, не оставляющему человѣка, особенно во время страха, онъ не утерпѣлъ, уходя, не взглянуть на нее и, потомъ, ощущивши тотъ же трепетъ, взглянулъ еще разъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣзкая красота усопшей казалась страшною. Можетъ-быть, даже она не поразила бы такимъ паническимъ ужасомъ, если бы была ибсколько безобразище. Но въ ея чертахъ ничего не было тусклаго, мутнаго, умершаго; оно было живо, и философу казалось, какъ будто бы она глядѣть на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, какъ будто изъ-подъ рѣсницы праваго глаза ея покатилась слеза, и когда она остановилась на щекѣ, то онъ различилъ ясно, что это была капля крови.

Онъ поспѣшилъ отошелъ къ клиросу, развернуть книгу и, чтобы болѣе ободрить себя, началъ читать самыми громкими голосомъ. Голосъ его поразилъ церковные деревянныя стѣны, давно молчаливые и оглохлые одиноко, безъ эха, сыпался онъ густымъ басомъ въ совершеню мертвой тишинѣ и казался ибсколько дикимъ даже самому чтецу. „Чего бояться?“ думалъ онъ между тѣмъ самъ про себя: „вѣдь она не встанетъ изъ своего гроба, потому что побоится Божьяго слова. Пусть лежить! Да и что я за козакъ, когда бы устрашился? Ну, вынѣль лишишь—оттого и показывается страшно. А понюхать табаку. Эхъ, добрый табакъ! Славный табакъ! Хороший табакъ!“ Однакоже, перелистывая каждую страницу, онъ посматривалъ икоса на гробъ, и невольное чувство, казалось, шептало ему: „Вотъ, вотъ встанешь! Вотъ поднимется, вотъ выглянетъ изъ гроба!“



Въ ея чертахъ ничего не было тусклаго, мутнаго, умршаго... (Стр. 58).

По тишине была мертвая; гробъ стоялъ неподвижно; свѣчи лили пѣлый потопъ свѣта. Страшна освѣщенная церковь ночью, съ мертвымъ тѣломъ и безъ души людей!

Возыся голосъ, онъ началъ пѣть на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, по чрезъ каждую минуту обращать глаза свои на гробъ, какъ будто бы задавая невольный вопросъ: „Чтѣ, если подымется, если встанетъ она?“

Но гробъ не шелохнулся. Хоть бы какой - нибудь звукъ, какое - нибудь живое существо, даже сверчокъ отозвался въ углу! Чуть только слышался легкій трескъ какой - нибудь отдаленной свѣчки, или слабый, слегка хлоопнувший звукъ восковой кашли, падавшей на полъ.

„Ну, если подымется...“

Она приподняла голову...

Онъ дико взглянулъ и проторъ глаза. Но она, точно, уже не лежитъ, а сидѣть въ свое гробъ. Онъ отвелъ глаза свои и опять съ ужасомъ обратилъ ихъ на гробъ. Она встала... идѣть по церкви съ закрытыми глазами, безпрестанно расправляя руки, какъ бы желая поймать кого-нибудь.

Она идѣть прямо къ нему. Въ страхѣ, очертилъ онъ около себя кругъ; съ усилиемъ началъ читать молитвы и произносить заклинанія, которымъ научилъ его одинъ монахъ, видѣвшій всю жизнь свою вѣдьмъ и нечистыхъ духовъ.

Она стала почти на самой чертѣ; по виду было, что не имѣла силь переступить ее, и вся посинѣла, какъ человѣкъ, уже нѣсколько дней умершій. Хома не имѣть духа взглянуть на нее: она была страшна. Она ударила зубами въ зубы и открыла мертвые глаза свои; но, не видя ничего, съ бѣшенствомъ,—что выразило ея задрожавшее лицо,—обратилась въ другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столпъ



Она встала.. идетъ по церкви... (Стр. 60).

и уголь, стараясь поймать Хому. Наконець, остановилась, погрозивъ пальцемъ, и легла въ свой гробъ.

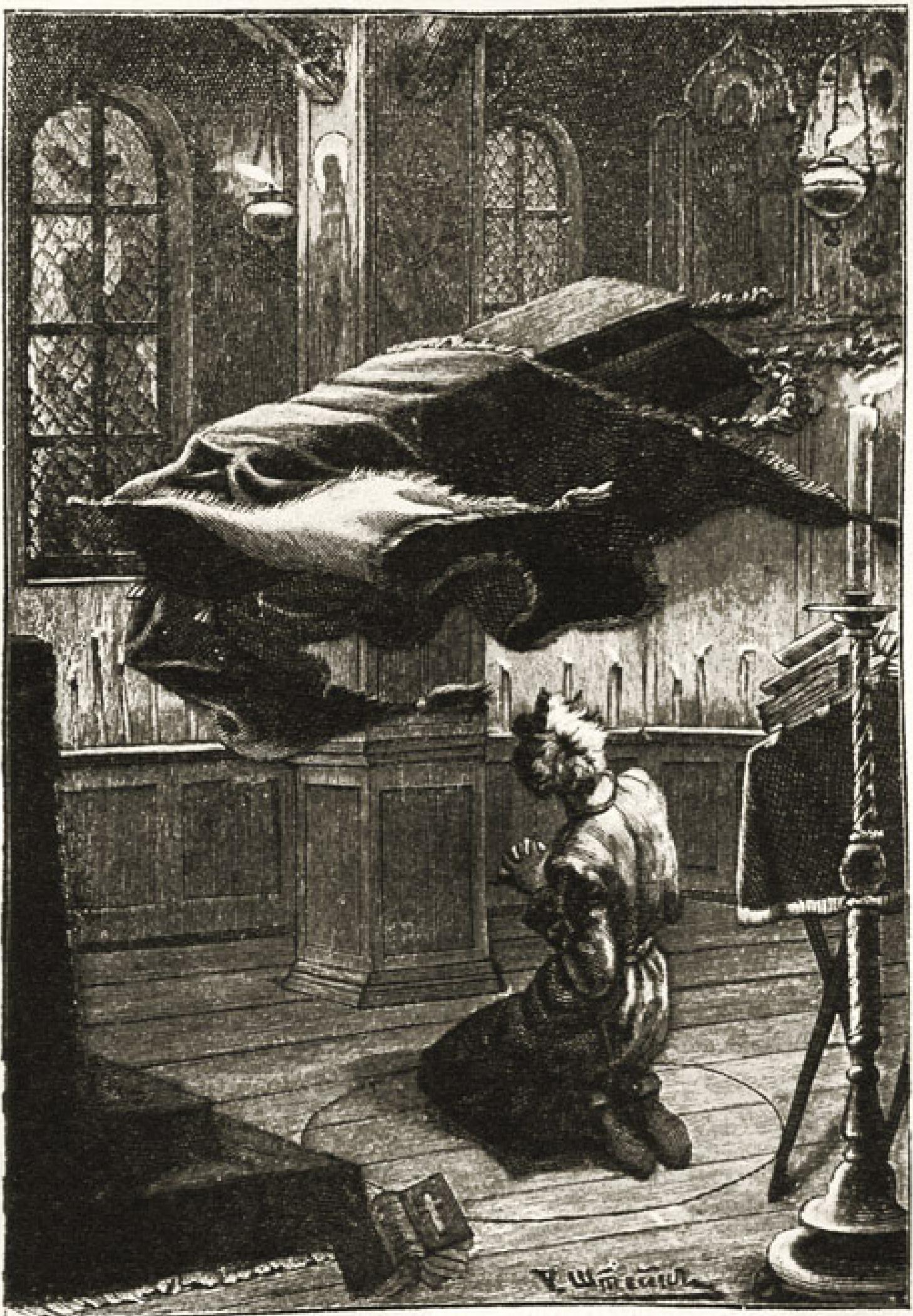


Философъ все еще не могъ прийти въ себя и со страхомъ поглядывалъ на это тѣсное жилище вѣдьмы. Наконець, гробъ вдругъ сорвался съ своего мѣста и со свистомъ началъ летать по всей церкви, крестя во всѣхъ направленияхъ воздухъ. Философъ видѣлъ его почти надъ головою, но вмѣстѣ съ тѣмъ видѣлъ, что онъ не могъ зацѣпить круга, имъ начертеннаго, и усилилъ

свои заклинанія. Гробъ грянулся па серединѣ церкви и остался неподвижнымъ. Трупъ опять поднялся изъ него синій, позеленѣвшій. Но въ то время послышался отдаленный крикъ пѣтуха: трупъ опустился въ гробъ и захлопнулся гробовою крышкою.

Сердце у философа билось, и потъ катился градомъ; но, ободренный пѣтушнимъ крикомъ, онъ дочитывать быстрѣе листы, которые долженъ былъ прочесть прежде. При первой зарѣ пришли смѣнить его дѣячокъ и сѣдой Явухъ, который на тотъ разъ отправлялъ должность церковнаго старосты.

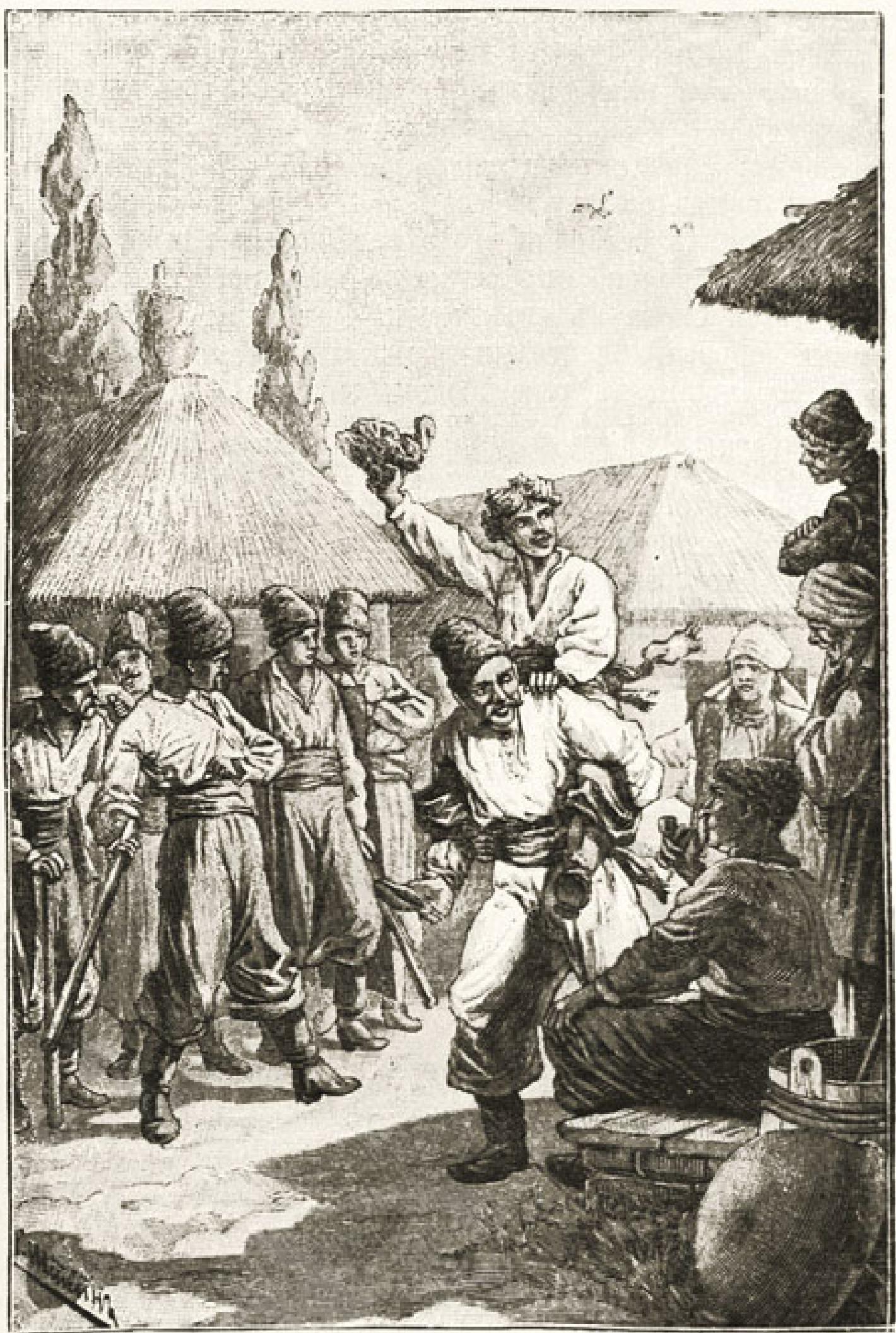
Пришедши на отдаленный почлегъ, философъ долго не могъ заснуть; но усталость одолѣла, и онъ пропалъ до обѣда. Когда онъ проснулся, все ночное событие казалось ему происходившимъ во снѣ. Ему дали, для подкрѣпленія силь, кварту горѣлки. За обѣдомъ онъ скоро развязался, присовокупилъ кое къ чему замѣчанія, и сѣдѣлъ почти одинъ довольно большого поросенка; но однакоже о своемъ событіи въ церкви онъ



Гробъ вдругъ сорвался съ своего мѣста и со свистомъ началъ летать по всей церкви. (Стр. 62).

не рѣшался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству, и на вопросы любопытныхъ отвѣчалъ: „Да, были всякия чудеса“. Философъ былъ изъ числа тѣхъ людей, которыхъ, если накормить, то у нихъ пробуждается необыкновенная филантропія. Онъ, лежа съ своей трубкой въ зубахъ, глядѣлъ на всѣхъ необыкновенно сладкими глазами и безпрерывно поплевывалъ въ сторону.

Послѣ обѣда философъ былъ совершенно въ духѣ. Онъ успѣлъ обходить все селеніе, перезнакомиться почти со всѣми; изъ двухъ хатъ его даже выгнали; одна смазливая молодка хватила его порядочно лопатой по спинѣ, когда онъ вздумалъ было пощупать и полюбопытствовать, изъ какой матеріи у нея была сорочка и плахта. Но чѣмъ болѣе время близилось къ вечеру, тѣмъ задумчивѣе становился философъ. За часъ до ужина вся почти дворня собиралась играть въ кашу, или въ крагли, — родъ кеглей, гдѣ, вмѣсто шаровъ, употребляются длинныя палки, и выигравшій имѣть право проѣзжаться на другомъ верхомъ. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщикъ, широкій какъ блинъ, взлѣжалъ верхомъ на свин资料的 pastуха, тщедушнаго, низенькаго, всего состоявшаго изъ морщинъ. Въ другой разъ погонщикъ представилъ свою спину, и Дорошъ, вскочивши на нее, всегда говорилъ: „Экой здоровый быкъ!“ У порога кухни сидѣли тѣ, которые посолиднѣе. Они глядѣли чрезвычайно серьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь отъ души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хома напрасно старался вмѣшаться въ эту игру: какая-то темная мысль, какъ гвоздь, сидѣла въ его головѣ. За вечерей сколько ни старался онъ развеселить себѣ, но страхъ загорался въ немъ вмѣстѣ съ тьмою, распредѣлившоюся по небу.



Игра становилась очень интересною... (Стр. 64).

„А ну, пора намъ, панъ бурсакъ!“ сказалъ ему знакомый сѣдой козакъ, подымаясь съ мѣста вмѣстѣ съ Дорошемъ: „пойдемъ на работу“.

Хому опять такимъ же самымъ образомъ отвели въ церковь; опять оставили его одного и заперли за нимъ дверь. Какъ только онъ остался одинъ, робость начала внѣдряться снова въ его грудь. Онъ опять увидѣлъ темные образы, блестящія рамы и знакомый черный гробъ, стоявшій въ угрожающей тишинѣ и неподвижности среди церкви.

„Что-жъ?“ произнесь онъ: „теперь вѣдь мнѣ не въ диковинку это диво. Оно съ первого раза только страшно. Да, оно только съ первого раза немного страшно, а тамъ оно уже не страшно; оно уже совсѣмъ не страшно“.

Онъ поспѣшно сталъ на клирость, очертилъ около себя кругъ, произнесь нѣсколько заклинаній и началъ читать громко, рѣшась не подымать съ книги своихъ глазъ и не обращать вниманія ни на что. Уже около часа читалъ онъ и начиналъ нѣсколько уставать и покашливать; онъ вынулъ изъ кармана рожокъ и, прежде нежели поднесъ табакъ къ носу, робко повелъ глазами на гробъ. На сердцѣ у него захолонуло: трупъ уже стоялъ передъ нимъ на самой чертѣ и вперилъ на него мертвые, позеленѣвшіе глаза. Бурсакъ содрогнулся, и холодъ чувствительно пробѣжалъ по всѣмъ его жиламъ. Потупивъ очи въ книгу, сталъ онъ читать громче свои молитвы и заклятья и слышалъ, какъ трупъ опять ударилъ зубами и замахалъ руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка однимъ глазомъ, увидѣлъ онъ, что трупъ не тамъ ловилъ его, гдѣ стоялъ онъ, и, какъ видно, не могъ видѣть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшныя слова; хрипло всхлипывали они, какъ клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не

могъ бы сказать онъ, но что-то страшное въ нихъ заключалось. Философъ въ страхѣ понялъ, что она творила заклинанія.

Вѣтеръ пошелъ по церкви отъ словъ, и послышался шумъ, какъ бы отъ множества летящихъ крыль. Онъ слышалъ, какъ бились крыльями въ стекла церковныхъ оконъ и въ желѣзныя рамы, какъ царапали съ визгомъ когтями по желѣзу и какъ несмѣтная сила громила въ двери и хотѣла вломиться. Сильно у него было во все время сердце: зажмуриивъ глаза, все читаль онъ заклятья и молитвы. Наконецъ, вдругъ что-то засвистало вдали: это былъ отдаленный крикъ пѣтуха. Изнуренный философъ остановился и отдохнулъ духомъ.

Вошедшіе смѣнить его нашли его едва жива; онъ оперся спиною объ стѣну и, выпуча глаза, глядѣлъ неподвижно на пришедшихъ козаковъ. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедшіи на панскій дворъ, онъ встряхнулся и велѣлъ себѣ подать кварту горѣлки. Выпивши ее, онъ пригладилъ на головѣ своей волосы и сказалъ: „Много на свѣтѣ всякой дряни водится! А страхи такие случаются, ну...“ При этомъ философъ махнулъ рукою.

Собравшіеся вокругъ него потупили головы, услышавъ такія слова. Даже небольшой мальчишка, кото-раго вся дворня почитала въ правѣ уполномочивать вмѣсто себя, когда дѣло шло къ тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этотъ бѣдный мальчишка тоже разинулъ ротъ.

Въ это время проходила мимо еще не совсѣмъ пожилая бабенка, въ плотно обтянутой запаскѣ, выказывавшей ея круглый и крѣпкій станъ, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришипить къ своему очищу: или кусокъ ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

„Здравствуй, Хома!“ сказала она, увидѣвъ философа.
„Ай, ай, ай! чѣто съ тобою?“ вскрикнула она, всплеснувъ руками.

„Какъ чѣто, глупая баба?“

„Ахъ, Боже мой! да ты весь посѣдѣлъ!“

„Эге, ге! Да она правду говорить!“ произнесъ Спиридъ, всматриваясь въ него пристально. „Ты, точно, посѣдѣлъ, какъ нашъ старый Явтухъ!“

Философъ, услышавши это, побѣжалъ опрометью въ



Да ты весь посѣдѣлъ!.. (Стр. 68).

кухню, гдѣ онъ замѣтилъ прилѣпленный къ стѣнѣ, обпачканный мухами, треугольный кусокъ зеркала, передъ которымъ были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянда изъ нагидокъ, показывавшія назначеніе его для туалета щеголеватой кокетки. Онъ съ ужасомъ увидѣлъ истину ихъ словъ: половина волосъ его, точно, побѣлѣла.

Новѣсилъ голову Хома Брутъ и предался размышленію. „Пойду къ пану“, сказаль онъ наконецъ: „раз-

скажу ему все и объясню, что больше не хочу читать.
Пусть отправляетъ меня сей же часъ въ Кіевъ".

Въ такихъ мысляхъ направилъ онъ путь свой къ крыльцу панского дома.

Сотникъ сидѣлъ почти неподвижень въ своей свѣтлицѣ. Та же самая безнадежная печаль, какую онъ встрѣтилъ прежде на его лицѣ, сохранилась въ немъ и донынѣ. Только щеки его опали гораздо болѣе прежняго. Замѣтно было, что онъ очень мало употреблялъ пищи, или, можетъ-быть, даже вовсе не касался ся. Необыкновенная блѣдность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

"Здравствуй, небоже!" произнесъ онъ, увидѣвъ Хому, остановившагося съ шапкою въ рукахъ у дверей. "Что, какъ идетъ у тебя? Все благополучно?"

"Благополучно-то, благополучно; такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несутъ".

"Какъ такъ?"

"Да ваша, панъ, дочка... По здравому разсужденію, она, конечно, есть панского рода, въ томъ никто не станетъ прекословить; только, не во гнѣвъ будь сказано, упокой Богъ ея душу..."

"Что же дочка?"

"Припустила къ себѣ сатану. Такіе страхи задаетъ, что никакое писаніе не учитывается".

"Читай, читай! Она не даромъ призвала тебя: она заботилась, голубонька моя, о душѣ своей и хотѣла молитвами изгнать всякое дурное помышленіе".

"Власть ваша, панъ: ей-Богу, невмоготу!"

"Читай, читай!" продолжалъ тѣмъ же увѣщательнымъ голосомъ сотникъ: "тебѣ одна ночь теперь осталась: ты сдѣлаешь христіанско дѣло, и я награжу тебя".

"Да какія бы ни были награды... Какъ ты себѣ

хочь, панъ, а я не буду читать!“ произнес Хома решительно.

„Слушай, философъ!“ сказалъ сотникъ, и голосъ его сдѣлался крѣпокъ и грозенъ: „я не люблю этихъ выдумокъ. Ты можешь это дѣлать въ вашей бурсѣ, а у меня не такъ! я уже какъ отдеру, такъ не то, что ректоръ. Знаешь-ли ты, что такое хорошия кожаные канчукки?“

„Какъ не знать!“ сказалъ философъ, понизивъ голосъ: „всякому извѣстно, что такое кожаные канчукки: при большомъ количествѣ — вещь нестерпимая“.

„Да. Только ты не знаешь еще, какъ хлонцы мои умѣютъ парить!“ сказалъ сотникъ грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирѣпое выраженіе, обнаружившее весь необузданный его характеръ, усыпленный только на время горестю. „У меня прежде выпарять, потомъ вспрыснуть горѣлкою, а послѣ опять. Ступай, ступай, исправляй свое дѣло! Не исправишь — не встанешь, а исправишь — тысяча червонныхъ!“

„Ого, го! да это хвать!“ подумалъ философъ, выходя: „съ этимъ нечего шутить. Стой, стой, пріятель: я такъ навострю лыжи, что ты съ своими собаками не угонишься за мною“.

И Хома положилъ непремѣнно бѣжать. Онъ выжидаль только послѣобѣденного часа, когда вся дворня имѣла обыкновеніе забираться въ сѣно подъ сараи и, открывши ротъ, испускать такой храпъ и свистъ, что панское подворье дѣжалось похожимъ на фабрику.

Это время, наконецъ, настало. Даже и Явтухъ зажмурилъ глаза, растянувшись передъ солнцемъ. Философъ со страхомъ и дрожью отправился потихоньку въ панскій садъ, откуда, ему казалось, удобнѣе и незамѣтище было бѣжать въ поле. Этотъ садъ, по обыкновенію, былъ страшно запущенъ и, стало-быть, чрезвычайно

способствовалъ всякому тайному предпріятію. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимся вишнями, бузиной, лопухомъ, просунувшими на самый верхъ свои высокіе стебли съ цѣпкими розовыми щищками. Хмель покрывалъ, какъ будто сѣть, вершину всего этого нестраго собрания деревъ и кустарниковъ и составлялъ надъ ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую съ него вьющимися змѣями, вмѣсть съ дикими полевыми колокольчиками. За плетнемъ, служившимъ границею сада, шель цѣлый лѣсъ бурьяна, въ который, казалось, никто не любопытствовалъ заглядывать, и коса разлетѣлась бы вдребезги, если бы захотѣла коснуться лезвеемъ своимъ одеревянѣвшихъ толстыхъ стеблей его.

Когда философъ хотѣлъ перешагнуть черезъ плетень, зубы его стучали и сердце такъ сильно билось, что онъ самъ испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала къ землѣ, какъ будто ее кто приколотилъ гвоздемъ. Когда онъ переступалъ плетень, ему, казалось, съ оглушительнымъ свистомъ трещать въ уши какой-то голосъ: „Куда, куда?“ Философъ юркнулъ въ бурьянъ и пустился бѣжать, безпрестанно спотыкаясь о старые корни и давя ногами кротовъ. Онъ видѣлъ, что ему, выбравшись изъ бурьяна, стоило перебѣжать поле, за которымъ чернѣлъ густой терновникъ, гдѣ онъ считалъ себя безопаснымъ, и, пройдя который, онъ, по предположенію своему, думалъ встрѣтить дорогу прямо въ Киевъ. Поле онъ перебѣжалъ вдругъ и очутился въ густомъ терновникѣ. Сквозь терновникъ онъ пролѣзъ, оставивъ, вмѣсто пошлины, куски своего сюртука на каждомъ остромъ шишѣ, и очутился на небольшой лощинѣ. Верба раздѣлившимися вѣтвями преклонялась индѣ почти до самой земли. Небольшой источникъ сверкалъ, чистый, какъ серебро. Первое дѣло философа было

прилечь и напиться, потому что онъ чувствовалъ жажду нестерпимую. „Добрая вода!“ сказалъ онъ, утирая губы: „тутъ бы можно отдохнуть“.

„Нѣть, лучше побѣжимъ впередъ: неравно будеть погоня!“

Эти слова раздались у него надъ ушами. Онъ оглянулся—передъ нимъ стоялъ Явтухъ.

„Чортовъ Явтухъ!“ подумалъ въ сердцахъ про себя философъ: „я бы взялъ тебя, да за ноги... И мерзкую рожу твою, и все, что ни есть на тебѣ, побилъ бы дубовымъ бревномъ“.

„Напрасно даль ты такой крюкъ“, и продолжалъ Явтухъ: „гораздо лучше было выбрать ту дорогу, по какой шель я: прямо мимо конюшни. Да притомъ и сюртука жаль. А сукно хорошее. Почемъ платиль за аршинъ? Однакожъ, погуляли довольно: пора и домой“.

Философъ, почесываясь, побрелъ за Явтухомъ. „Теперь проклятая вѣдьма задастъ миѣ пфейферу!“ подумалъ онъ. „Да, впрочемъ, что я въ самомъ дѣлѣ? Чего боюсь? Развѣ я не козакъ? Вѣдь читаль же двѣ почи, поможетъ Богъ и третью. Видно, проклятая вѣдьма порядочно грѣховъ надѣлала, что нечистая сила такъ за нее стоить“.

Такія размышленія занимали его, когда онъ вступалъ на панскій дворъ. Ободривши себѣ такими замѣчаніями, онъ упросилъ Дороша, который, посредствомъ протекціи ключника, имѣлъ иногда входъ въ панскіе погреба, вытащить сулею сивухи, и оба пріятеля, сѣвші подъ сараемъ, вытянули немногого не полведра, такъ что философъ, вдругъ поднявшись на ноги, закричалъ: „Музыкантовъ! непремѣнно музыкантовъ!“ и, не дождавшись музыкантовъ, пустился среди двора на расчищенномъ мѣстѣ отплясывать тропака. Онъ танцевалъ до тѣхъ поръ, пока не наступило время полдника, и дворни, обступившая его, какъ водится въ такихъ слу-

чаяхъ, въ кружокъ, наконецъ, плюнула и пошла прочь, сказавши: „Вотъ это какъ долго танцуетъ человѣкъ!“ Наконецъ, философъ тутъ же легъ спать, и добрый ушать холодной воды могъ только пробудить его къ



Онъ оглянулся—передъ нимъ стоялъ Явухъ. (Стр. 72).

ужину. За ужиномъ онъ говорилъ о томъ, что такое козакъ, и что онъ не долженъ бояться ничего на свѣтѣ.

„Пора“, сказаль Явухъ: „пойдемъ“.

„Сничка тебѣ въ языкъ, проклятый киуръ!“ подумалъ философъ и, вставъ на ноги, сказаль: „Пойдемъ!“

Идя дорогою, философъ безпрестанно поглядывалъ по сторонамъ и слегка заговаривалъ со своими провожатыми. Но Явтухъ молчалъ; самъ Дорошъ былъ неразговорчивъ. Ночь была адская. Волки выли вдали пѣлою стаей, и самый лай собачій былъ какъ-то страшенъ.

„Кажется, какъ будто что-то другое воетъ: это не волкъ“, сказалъ Дорошъ. Явтухъ молчалъ. Философъ не нашелся сказать ничего.

Они приблизились къ церкви и вступили подъ ся ветхіе деревянные своды, показывавши, какъ мало заботился владѣтель помѣстя о Богѣ и о душѣ своей. Явтухъ и Дорошъ попрежнему удалились, и философъ остался одинъ.

Все было такъ же, все было въ томъ же самомъ грозно-знакомомъ видѣ. Онъ на минуту остановился. Посерединѣ все такъ же неподвижно стоялъ гробъ ужасной вѣдьмы. „Не побоюсь; ей-Богу, не побоюсь!“ сказалъ онъ и, очертивши попрежнему около себя кругъ, началъ припомнить всѣ свои заклинанія. Тишина была страшная; свѣчи трепетали и обливали свѣтомъ всю церковь. Философъ перевернулъ одинъ листъ, потомъ перевернулъ другой и замѣтилъ, что онъ читаетъ совсѣмъ не то, что писано въ книгѣ. Со страхомъ перекрестился онъ и началъ пѣть. Это нѣсколько ободрило его; чтеніе пошло впередъ, и листы мелькали одинъ за другимъ.

Вдругъ... среди тишины... съ трескомъ лопнула жѣлѣзная крышка гроба и поднялся мертвецъ. Еще страшнѣе былъ онъ, чѣмъ въ первый разъ. Зубы его страшно ударялись рядъ о рядъ, въ судорогахъ задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинанія. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетѣли сверху внизъ разбитыя стекла окошекъ. Двери сорвались съ петлей, и несмѣтная сила чудовищъ вле-

тѣла въ Божью церковь. Страшный шумъ отъ крыль и отъ царапанья когтей наполнилъ всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомы вышелъ изъ головы послѣдній остатокъ хмеля. Онъ только крестился, да читаль, какъ попало, молитвы. И въ то же время слышалъ, какъ нечистая сила металась вокругъ его, чуть не зацепляя его концами крыль и отвратительныхъ хвостовъ. Не имѣлъ духу разглядѣть онъ ихъ; видѣлъ только, какъ во всю стѣну стояло какое-то огромное чудовище въ своихъ перепутанныхъ волосахъ, какъ въ лѣсу; сквозь сѣть волос глядѣли страшно два глаза, поднявъ немного вверхъ брови. Надъ нимъ держалось въ воздухѣ что-то видѣ огромнаго пузыря, съ тысячью протянутыхъ изъ середины клещей и скорпионныхъ жаль; черная земля висѣла на нихъ клоками. Всѣ глядѣли на него, искали и не могли увидѣть его, окруженнаго таинственнымъ кругомъ. „Приведите Вія! Ступайте за Віемъ!“ раздались слова мертвца.

И вдругъ настала тишина въ церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшіе по церкви. Взглянувъ искоса, увидѣлъ онъ, что ведутъ какого-то приземистаго, дюжаго, косолапаго человѣка. Весь былъ онъ въ черной землѣ. Какъ жилистые, крѣпкіе корни, выдавались его, засыпанныя землею, ноги и руки. Тяжело ступать онъ, по минутно оступаясь. Длинныя вѣки опущены были до самой земли. Съ ужасомъ замѣтилъ Хома, что лицо было на немъ желѣзное. Его привели подъ руки и прямо поставили къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ Хома.

„Подымите мнѣ вѣки: не вижу!“ сказалъ подземнымъ голосомъ Вій,—и все сонмище кинулось подымать ему вѣки.

„Не гляди!“ шепнулъ какой-то внутренній голосъ философи. Не вытерпѣлъ онъ, и глянулъ.



„Подымите мнѣ вѣки: не вижу!“ сказаль подземнымъ голосомъ Вій...
(Стр. 75).

„Вотъ онъ!“ закричалъ Вій, и уставилъ на него жѣзный палецъ. И всѣ, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянулся онъ на землю, и тутъ же вылетѣлъ духъ изъ него отъ страха.

Раздался пѣтушій крикъ. Это былъ уже второй крикъ: первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто какъ попало, въ окна и двери, чтобы поскорѣе вылетѣть; но не тутъ-то было: такъ и остались они тамъ, завязнувшіи въ дверяхъ и окнахъ.

Вошедшій священникъ остановился при видѣ такого посрамленья Божьей святыни и не посмѣлъ служить панихиду въ такомъ мѣстѣ. Такъ навѣки и осталась церковь, съ завязнувшими въ дверяхъ и окнахъ чудовищами, обросла лѣсомъ, корнями, бурьяномъ, дикимъ терновникомъ, и никто не найдетъ теперь къ ней дороги.

Когда слухи обѣ этомъ дошли до Киева, и богословъ Халява услышалъ, наконецъ, о такой участіи философа Хомы, то предался цѣлой часть раздумью. Съ нимъ, въ продолженіе того времени, произошли большія перемѣны. Счастіе ему улыбнулось: по окончаніи курса наукъ, его сдѣлали звонаремъ самой высокой колокольни, и онъ всегда почти являлся съ разбитымъ носомъ, потому что деревянная лѣстница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сдѣлана.

„Ты слышалъ, что случилось съ Хомою?“ сказалъ, подошедши къ нему, Тиберій Горобецъ, который въ то время былъ уже философъ и носилъ свѣжіе усы.

„Такъ ему Богъ далъ“, сказалъ звонарь Халява.
„Пойдемъ въ шинокъ, да помянемъ его душу!“

Молодой философъ, который съ жаромъ энтузіаста началъ пользоваться своими правами, такъ что на немъ и шаровары, и сюртукъ, и даже шапка отзывались

спиртомъ и табачными корешками, въ ту же минуту изъявила готовность.

„Славный быль человѣкъ Хома!“ сказаль звонарь, когда хромой шинкарь поставилъ передъ нимъ третью кружку. „Знатный быль человѣкъ! А прошаль ни за чѣ.“.

„А я знаю, почему прошаль онъ: оттого, что побоялся; а если бы не боялся, то бы вѣдьма ничего не могла



Вошедшій священникъ остановился... (Стр. 77).

съ нимъ сдѣлать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвостъ ей, то и ничего не будетъ. Я знаю уже все это. Вѣдь у насть, въ Кіевѣ, всѣ бабы, которыхъ сидять на базарѣ, всѣ—вѣдьмы“.

На это звонарь кивнулъ головою въ знакъ согласія. Но, замѣтивши, что языкъ его не могъ произнести ни

одного слова, опь осторожно всталъ изъ-за стола и, пошатываясь на обѣ стороны, пошелъ спрятаться въ самое отдаленное мѣсто въ бурьянѣ; при чёмъ не позабылъ, по прежней привычкѣ своей, утащить старую подошву отъ сапога, валявшуюся на лавкѣ.

